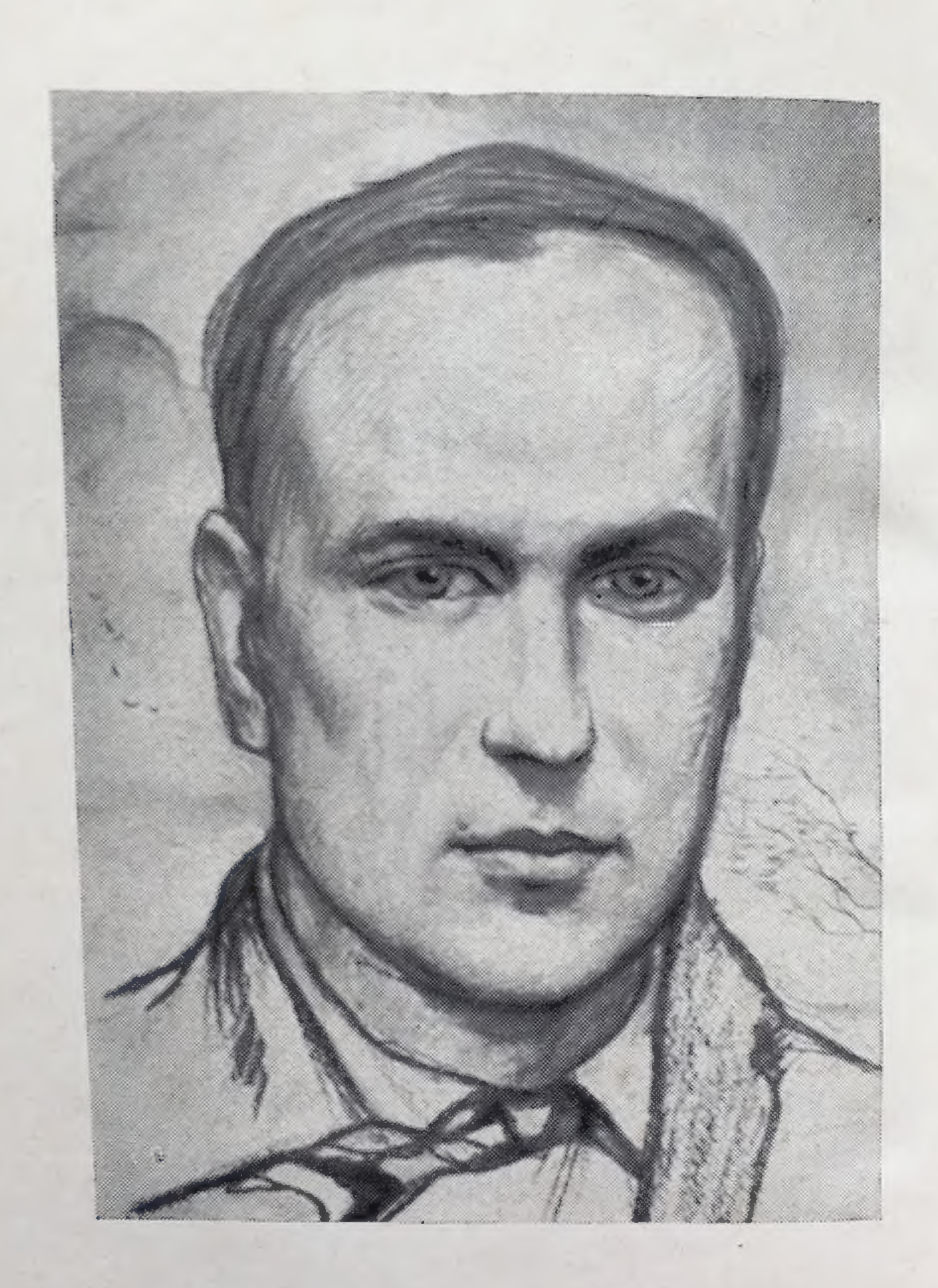
Феликс Чуев

ПИЛОТКА



Ф. Чуев

Феликс Чуев

ПИЛОТКА

СТИХОТВОРЕНИЯ

Ордена Трудового Красного Знамени
Военное издательство
Министерства обороны СССР
Москва 1973

Р2
Ч-85

Ч $\frac{0742-307}{068(02)-73}$ 220-73

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Чувство высоты. Предисловие М. Водопьянова . . . 3
«Изгладится...» 5
«По-над вмятым в землю бурьяном...» . . 6
Летный полк 8
«О, как эти люди красивы...» 10
«В степи трещали коростели...» 11
Гатчина 12
«Не золоту, а сердцу на потребу...» . . . 14
Памятник летчику 15
Курсант 16
Ляпидевский 18
«Полярная вьюга гудит над Купавной...» . . 20
Старые пилоты 22
Нелетная погода 24
«До сих пор я не знаю...» 25
Тополь 26
«Кто-то будет смеяться и петь...» 28
«Лунная в небе заплата...» 29
«На кладбище у церкви Всех Святых...» . . 30
«Наш «як» притих обиженно в сторонке...» . . 31
Испытатели 32
«Я рад, что нету мамы у меня...» 35
Моя работа 36
Праздник 37
«Я приехал в городок хороший...» 39
Пилотка 40
Еще об отцовской пилотке 41
«...Я видел только чуб...» 42
Вишня 43
«Я сижу под вишней, отдыхаю...» 45
Элегия 46
«За что б ни взялся...» 47
Мартовский вечер 48
Сапоги 49
В гостях у Мосолова 51

Стр.

Когда мне вспоминается Гагарин... . . . 54
«Как леса...» 61
«Уснут расчеты на столе...» 63
Главный конструктор 64
Прощание 66
Проспект космонавта Добровольского . . 67
Болтанка 68
Военные поэты 70
Песни 71
Надпись на памятнике 72
Брестская крепость 73
Документальное кино 74
«С той поры, как живу в Подмосковье...» . . 75
«Ревмя гудели облака...» 76
«В моей стране есть ветхая избушка...» . . 78
Фото в моем дому 79
«Я сажусь в самолет «мессершмитт»...» . . 80
Входили русские в Софию... 82
Гоби 83
Памятник 85
Гости «Интуриста» 87
«Повсюду называют нас «Иваны»...» . . . 89
Северо-Запад 91
Собор Николы 93
«Что мне делать, что мне делать...» . . . 95
«На кривых переулках старинной Москвы...» 96
«Люблю Москву...» 97
«Москва-река еще зимой не скована...» . . 98
«Художник, василька не прозевай...» . . . 99
«По зеленому бульвару по Тверскому...» . . 100
«Моя московская квартира...» 102
«Уеду я в село Завидово...» 103
«В звучанье слова мятного «купава»...» . . 104
«Раздувает белые пожары...» 105
Рождение дня 106
«Стаканом лесной чистоты...» 107
Кавказское утро 108
Ленинград 109
«Здесь Пушкин жил...» 110
Об Александре Прокофьеве 111
«Из песни можно выкинуть слова...» . . . 113
Очаков 115

Стр.
«Будет? Не будет?..» 116
Лейтенанты 117
«Женщина с ребенком на вокзале...» 119
Старик Илья 120
«Помню окна битые вокзала...» 121
1948 122
«Верьте детству!..» 123
Мальчишка 124
«Вспоминаются школьные годы...» 129
Динка 131
«Все пионерки, в которых я был влюблен...» 133
«Сколько было у меня любовей...» 134
Разговор с другом 136
«Со всеми это случится...» 138
«Когда перед тобою нападающий...» 140
Лефортов вал 142
Рано вставать 143
«Это во сне...» 145
«Я думала-гадала...» 146
Лесная песня 147
«Мягкий ветер, в село залетая...» 148
«Ты столько с детства...» 149
«Есть у снов неизбывная сила...» 151
«Я буду некрасив...» 152
«В застывший пруд моей души холодной...» . 154
«Сосновым, пахучим, протоптанным летом...» 155
«Закат был такой...» 156
«Все. Будет погода. И море утихло...» . . . 158
«Женятся зеленые ребята...» 159
«Я обойду всю великую страну...» 160
«Давай мы жизнь...» 161
«Спи, любимая!..» 163
«В такие дни...» 165
«В тиши окраинных ночей...» 167
«Ее простая, кроткая измена...» 169
«Стоять у края платформы — опасно!..» . . 171
«Столкновение встречных потоков...» 172
«Жизнь отстоялась. Ушел из мальчишек...» . 174
«Когда умирает парень...» 175
«Талантом восхищаются...» 176
Галилей 177
«Талант за так нам не дается...» 179

Стр.

«Жил математик. Его не любили...» 180
«В маленьком чистом городе...» 182
Дождь в Нью-Йорке 184
«За ум люблю тебя...» 189
«Я видел кандидата в президенты...» . . . 191
Встреча 192
Уолл-стрит 193
«Спускались километры...» 195
«Спасибо, жизнь, благодарю...» 197
«Командир принимает решенье...» 198
«У советских...» 200
«Если твоя земля в цвету...» 202

ЧУВСТВО ВЫСОТЫ

Как-то мне попалась книжечка стихотворений Феликса Чуева. Стихи воскресили в памяти эпизоды моей юности, и я подумал, что поэт, наверное, человек с большим жизненным опытом, немало повидавший на своем веку. И вот однажды нам довелось выступать вместе перед молодежью. Он читал строки о летчиках. И я был невольно удивлен: настолько хорошо Феликс Чуев чувствует эпоху зарождения отечественной авиации! А ведь он, по возрасту, не мог быть свидетелем событий, о которых взволнованно и точно говорит в стихах.

Тема авиации занимает значительное место в творчестве Чуева. Стихи его мужественны и человечны. Их любят в летной среде. Я не знаю другого современного поэта, который бы с такой теплотой и лиричностью писал о небе и о людях авиации. Просто и задушевно рассказывает Чуев и о первых покорителях пятого океана, и о своих товарищах — пилотах. А когда он прочитал:

Мужество,
скуластое, как Чкалов,
По-медвежьи движется в унтах, —

я увидел друга моей молодости Валерия Павловича, как будто он снова рядом со мной, пришел сюда в зал, к молодежи, овеянный всенародной славой.

Вспомнились встречи с другим замечательным человеком — Юрием Гагариным. С ним Феликс Чуев, как мне известно, был в дружеских отношениях и посвятил его памяти проникновенную поэму «Минута молчания».

Стихи Чуева запоминаются, им веришь, веришь их автору, потому что за строками видишь характер яркого, самобытного поэта.

Михаил Водопьянов,
Герой Советского Союза

* * *

Изгладится,
забудется,
сотрется
немало из того, что берегли.
Лишь память нестареющего солнца
согреет корни матери-земли.

Слетит с небес иное беспокойство
к мальчишкам новым,
к старым площадям,
и улыбнется юное геройство
округлым, допотопным кораблям.

...К высокому дерзанию готова,
притихла в ожидании страна.
И смотрят в небо площадь Комарова
и улица Степана Супруна.

* * *

...По-над вмятым в землю бурьяном,
ошарашивая народ,
поднимались аэропланы
с русским именем —
самолет.

Как Россия людьми богата,
сколько славы растет в стране!
Вот сидят ее чкаловята
под заборчиком, на бревне.

Что им Чкалов,
когда Гагарин
соответствует высоте!
Но стоит в просторном ангаре
зацелованный АэНТэ.

Я прорвался к самой кабине,
я директора доконал:
недозволенную святыню
я потрогал — старый штурвал.

И покачивались элероны,
хоть сейчас заправляй, лети!
Стала память аэродромом
в потрясающие пути.

А никто еще в целом мире
и не ведал — откуда, чей?
Но летала уже фамилия
над улыбками москвичей...

Это было и будет вечно.
Это тысячу раз не зря!
И летела к нему навстречу,
как игрушечная, Земля.

Та земля, где много игрушек,
где вздыхают:
                    «Рос бы скорей»,
где, врезаясь носом в подушку,
спит бессмертие матерей...

Высоко он сейчас, парнище,
в золотом рассветном дыму.
«Ты летай, сынок,
                    да пониже», —
отписала мама ему.

ЛЕТНЫЙ ПОЛК

Мои друзья, мои истоки!
Среди красивых и родных
на предполетной подготовке
читаю летчикам — про них.

Стоят ребята молодые
под сенью солнечных ветвей,
обыкновенные, простые,
герои самых мирных дней.

— По самолетам! —
как «по коням!».
Наступит доблестный момент,
и командир полка,
полковник,
мальчишка, черт, интеллигент,

лихой, улыбчивый глазами,
со складкой воли на щеке,
счастливый солнцем, небесами
на просветленном козырьке,

он скажет: «Воздух держит плотно
и самолет и экипаж».

Как зверь, до небушка голодный,
упругим пламенем форсаж
с бетонки вверх возносит первым

его —
он властвует один,
прижав к бокам стальные нервы
роскошных крыльев и турбин.

За ним поднимутся огромно,
сметя обрывки тишины, —
и грохот над аэродромом
запомнится, как мощь страны.

И вдаль летит протяжным гулом
по струнам северных лесов:
Чухновский,
Громов,
Арцеулов,
Анохин,
Глинка,
Мосолов...

* * *

О, как эти люди красивы
и в небе землею сильны!
Военно-Воздушные Силы,
особая гордость страны.

У неба земные приказы.
Опять гермошлем надевать,
который космическим назван,
а надо бы летным назвать.

Летит, продолжается диво
высоких тридцатых годов,
и небо, как прежде, красиво
в рассветном меду облаков.

В дежурном звене по тревоге —
четыре минуты,
                    и взлет! —
уходят реальные боги
в нерайские кущи высот,

чтоб кущи земные растили
мы в мирной страде бытия...
Военно-Воздушные Силы,
любовь и святыня моя!

* * *

В степи трещали коростели
и разливалась теплота.
Передо мной лежал пропеллер,
обломок старого винта.

Что ж,
неизвестность величаво
хранима небом и землей,
и только мужество и слава
в дремоте ласки полевой

спокойно вам напоминают,
по травам сомкнутым скользя,
что есть еще стезя иная,
как дух, высокая стезя...

ГАТЧИНА

«Итак, начало боя в воздухе положено. И первым бойцом был он же, русский герой, уже носитель венца славы за первую петлю, Петр Николаевич Нестеров... Слава тебе, русский герой!.. Слава богу, что русские таковы!

Поручикъ Крутень».
(Газета «Новое время», 21 сентября 1914 г.)

Словно доблести лучик
от погон золотых,
это слово «поручикъ» —
из небес, не из книг.

Над прохладным простором
он парит высоко,
с аппаратом «ньюпором»
совладает легко.

А закончится тяжко,
вскинув аэроплан,
что казацкую шашку
над врагами, —
таран!

...Мы для мира загадочны —
и сердца, и умы.

Мы из Гжатска и Гатчины,
дети Гатчины мы.

Там родник авиации,
красота высоты,
цвет мечтающей нации
проявил там черты.

В парке светится осень,
в парке можно прочесть
над молчанием сосен
про высокую честь.

Свет больших обобщений
мне открылся отсель.
Пушкин знал, что он гений,
а пошел на дуэль.

Эти дети России
не меняли дорог
и от злой дистрофии
умирали, как Блок.

И профессор неловкий,
с золотой головой,
шел на танки с винтовкой
под осеннею Мгой.

И не можем иначе мы,
и выводим талант,
как поручик из Гатчины,
на победный таран!

* * *

Не золоту, а сердцу на потребу —
и не было достойней ремесла —
мою страну воспитывало небо,
и вместе с небом Родина росла.

Все больше неба люди отнимали,
все выше крыши каменных домов,
но синева, торжественно немая,
цвела раздольным пастбищем умов.

...Когда машина загребает воздух
и на куски ломает синеву,
и с плоскости соскальзывают звезды,
я твердо знаю, для чего живу.

Моя страна, земли тебе хватало,
корысть какая — налетаться всласть!
Страна моя,
                ты первой начинала
и первой
выше неба вознеслась.

Да будет светел
                каждый твой поступок,
как след твоих высотных кораблей,
да будет мир признателен и чуток
к тому, что ты свершила для людей!

ПАМЯТНИК ЛЕТЧИКУ

Резкий, настоящий русский профиль.
Мраморные жилки на висках
бьются и гудят подземной кровью,
пролитой нещадно в облаках.

В небеса высóко вознесенный,
на крови поднялся монумент,
с почвою незыблемо скрепленный
кровью, что прочнее, чем цемент.

Этот век
летать не перестанет,
коль его придумал человек.
Не читайте слов на пьедестале.
Памятник смотрите. Он — про всех.

КУРСАНТ

Небо синее,
негасимое
ночью светится на крыле.
Мама спит моя.
Спит любимая.
Спят товарищи на земле...

Коли выбрал, друг,
авиацию,
значит, прожил ты
много лет.
И из «штопора» под овации
выводил ты свой «драндулет».

Подымал страну свою милую
над просторами всех морей
с водопьяновской
краснокрылою
славой первых богатырей...

Небо гордое Ленинграда,
небо горькое,
как война.
Головановские армады,
знаменитые имена.

Это славное —
твой союзник,
самый прочный в мире металл,—
как фанерный тот
«кукурузник»,
что мальчишкой ты увидал.

ЛЯПИДЕВСКИЙ

И встречает в дверях, улыбаясь по-детски,
хоть прибавилось к детству немало седин,
Анатолий Васильевич —
сам Ляпидевский! —
у которого «Звездочка» номер один.

Он похож на себя. Только чуточку старше.
Под глазами синеют круги — от высот.
Он и в прошлом и нет. И челюскинцев даже
он еще не спасал, но, конечно, спасет.

И когда за него прозвучали стаканы,
— Каюсь, хлопцы, не я, — он вздохнул тяжело,—
самым первым Героем был Федя Куканов.
Быть бы должен. Не стал. Просто не повезло...
Валька Чкалов... Байдук... —
Имена-то какие!
Но о самых о первых —
что знаем о них?
И подумалось мне о богатстве России,
у которой на все достает запасных.

Да и слава-то, в общем, обидно проходит,
как тачанка в степи, как немое кино,
где фанерный —
летает при полном народе,
чтоб сегодняшним мальчикам было смешно.

Пусть меня посчитают отсталым и странным
Пусть тридцатые годы я знаю из книг,
мне любых реактивных дороже бипланы —
из героев герои блистали на них!..

* * *

Михаилу Васильевичу Водопьянову

Полярная вьюга гудит над Купавной,
впаялась земля в ледяной небосвод,
и все Подмосковье под снежною лавой
отдельно, как белый корабль, плывет.

Но солнце на стекла,
что за ночь иззябли,
дохнуло порывисто, как паровоз.
Проснулся огромный, как мишка, хозяин
с полярною шапкою белых волос.

Он дед для меня.
Он давно не летает.
Но видели б вы,
он могучий какой!
Трещат половицы,
когда он шагает,
как будто по льдинам идет,
молодой.

И в комнате светлой,
на полках покоясь,
молчат над простором тетрадных листов
его перелеты на Северный полюс —
отчаянный космос тридцатых годов.

А так и не скажешь,
что здесь проживает
тот самый,
в кого я был с детства влюблен.
Лишь ровно норд-ост за окном завывает
да фото знакомое:
Чкалов и он.

Рубаха простая,
пиджак без отличий.
И шрамы...
Летал.
И не просто летал —
он Молот и Серп
до небес возвеличил
и три поколенья орлят
воспитал.

СТАРЫЕ ПИЛОТЫ

Уважаю старых пилотов.
Как начнут про былые дела!
Потускнели их анекдоты,
не привинчены ордена...

Только вера не устарела.
Убежденность их такова,
что горело, да не сгорело
то, на чем держалась Москва.

В них живет такое упорство,
что словами не проведешь,
и, как взгляд, по-летному острый,
беспокойство за молодежь.

И, летать юнцов научая,
в небе — руку им на плечо,
сами плачут перед врачами,
чтоб не списывали еще.

Носят гордо старые куртки,
все торопятся по утрам,
а на улице станет жутко:
«Ведь спешить-то некуда нам!»

Но отметит —
в новеньких «птичках» —
паренек небесной красы

эту кожанку в электричке,
эти «штурманские» часы...

И взлетают наши ребята
с той испытанной полосы,
где на «пешках»,
«эсбэ»,
«Эр-пятых»
говорили с небом
отцы.

НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА

Какие люди служат в авиации,
какие парни покоряют высь!
Ну, как им было вместе не собраться,
когда им встреча продлевает жизнь!

Они друг друга по Союзу знают,
и потому сказать я не боюсь,
что если где-то летчик погибает,
так это значит, плачет весь Союз.

А возле касс, тоскующий по дому,
толпится неприкаянный народ,
и под плакатом «Быстро и удобно»
на все лады клянет Аэрофлот.

И северная модница с мехами,
и две южанки — знойный колорит...
Лишь повидавший неба бортмеханик
с улыбкой ничего не говорит.

«Ну что ж вы, что вы, милые попутчицы,
вы доживете — я не доживу,
еще немного крови, мы научимся
за пять минут из Мурманска в Москву».

Так выпьем за здоровье экипажа,
за самых верных, преданных парней,
за командира,
за машину нашу,
чтоб ей хватило неба и рулей!

* * *

До сих пор я не знаю,
                              кто ты,
до сих пор наяву и во сне
вижу черный кулак пилота
и на нем
          нетающий снег.

Тишь уснула в обломках крыльев...
И, как слиток,
                    застыл кулак.
С чем же ты
                    в последнем усилье
не хотел расставаться никак?

Словно что-то,
                    дороже жизни,
ты у смерти рвал...
                              И в ответ
из разжатой ладони
                              брызнул
опаленный партийный билет.

Разве только
                    мужество с волей
до чугунности
                    надо слить,
чтобы
     это сердце живое
в мертвом теле
                    осталось жить?

1958 г.

ТОПОЛЬ

Подсвеченной сеткой высоких деревьев
окутан чернеющий день.
Осеннего солнца закатные перья
бессильно вонзаются в тень.

Вдали, у заката, я тополь увижу.
Не просится тополь в полет.
Он листьями небо медовое лижет,
он кроною облако пьет.

И ветки — как будто не ветки, а корни,
корнями он трогает высь,
а весь в глубине он, угрюмой и черной,
и там настоящая жизнь.

В земле распустились широкие ветки,
спокойно и тихо ветвям.
«Вверху — продолженье,
а здесь я — навеки,
такое же будет и вам.

Вверху, на просторе, рожденье второе,
как памяти буйный парад.
Внизу, подо мною, уснули герои,
вверху — обелиски шумят».

Мне тополь вещал,
и качался дымок

от слов и ветвей угловатых.
И я зашагал вдоль высоких домов,
где жили герои когда-то.

В окопы ушли —
я не знал никого,
ведь люди
домов помоложе,
а окна светлы и грустны оттого,
что кто-то здесь чуточку прожил.

Не видел, не помню.
И только потом,
к себе возвращаясь с работы,
замечу мужчину, входящего в дом
сутулой походкой пилота.

Он в окнах под желтой рекламой жил:
«Печень трески питательна»,
он в кепке и кожаной куртке ходил,
как ходят все испытатели.

* * *

Кто-то будет смеяться и петь,
кто-то жадно
рванется к звездам,
А кому-то придется жалеть,
и жалеть уже будет поздно...

Кто-то гнался за тенью мечты
И ожегся о звезды... Не ты ли?
Может, ты...
Ну и что ж, если ты —
У тебя еще вырастут крылья!

1960 г.

* * *

Лунная в небе заплата.
Тихо кончается день.
Срезала бритва заката
невысоту деревень.

Вновь задышали палатки,
выдохся аэродром.
Вновь мы шагаем к бабке
за ледяным молоком.

И планерá на приколе,
в травы уткнув носы,
запахи завтрашней воли
чуют в избытке росы.

Небушко будет хорошим,
учимся мы летать.
День до ломоты прожит.
Бабушка, исполать!

* * *

На кладбище у церкви Всех Святых
Калинычева Клава, планеристка,
нашла покой от виражей крутых,
а может быть, от собственного риска.

Давным-давно ей так не повезло,
и я случайно встретил ту могилу.
Но почему ж сейчас меня прожгло
такою кровной, родственною силой?

Как будто кто-то близкий рядом, вот,
кого я знал или хотя бы видел...
Еще один неконченный полет,
как сбывшееся горькое наитье.

Не надобно особого труда,
чтоб вспомнить про Калинычеву Клаву.
Метро с названьем «Сокол» —
навсегда,
и жизнь, и небо солнечного сплава.

* * *

Наш «як» притих обиженно в сторонке,
похожий на пугливого зверька,
а я иду по вымокшей бетонке,
и облака слетают с козырька.

А возле рощи, только что крылатый,
в усталой и единственной красе,
стоит и курит командир отряда,
и светятся березы на лице.

Сырое небо падает на плечи,
дождем и светом сеет сквозь туман.
Ему понятны только наши речи
и наш земной моторный ураган.

И не ему ли, светлому, как песня,
я нынче отдал кровных три часа,
и мне вернуло право поднебесье
дышать землей, где ветер и гроза,

и от пустынной станции по балочке,
продолжив серебристые пути,
шагать по лужам, как Валерий Павлович,
и женщину над лужами нести.

ИСПЫТАТЕЛИ

1.

На земле — зима по колени,
в небе — лето и благодать.
Представители поколенья,
мы хотим ему благо дать —

как сумеем, пока не померли,
не постигнув неба всего.
Самолетик еще без номера —
мы испытываем его.

Мой товарищ,
                    напарник в «спарке»,
крепко спаяны мы с тобой
самым прочным металлом сварки —
неразрывною синевой.

Каждый день у земли украден ты
царством, где грызут высоту
«илы»,
        «яки»,
                «дакоты»,
                        «трайденты»,
«каравеллы»,
                «антеи»,
                        «ту»...

Золотое царство, могучее,
все хотят в нем царями быть,
но оно, бездонностью мучая,
столько раз охлаждало прыть!

Словно в белых песках Монголии,
солнце снизу жжет и с боков.
И летят ромашки,
магнолии,
одуванчики облаков.

И лучи, как сома, обжарили
серебристый наш самолет,
под которым все полушарие,
как на свадьбу, в белом плывет.

Кто пилотов назвал железными
и романтиками назвал?
Пусть повыше других залезли мы —
мы испытываем металл.

Для проверки узлов отдельных
полетать бы еще часок!
Мы придем сюда в понедельник —
понедельник последний срок.

2

Самолет прозвали «людоед».
Погибали парни золотые.
Вытворил он столько страшных бед,
только очень нужен был России.

Самолет отличный был,
да вот

раньше появился он, чем нужно.
Пол-Звезды за этот самолет
испытатель вылетал заслуженно.

И Звезда Героя Золотая
на груди венчает ордена,
предыдущей славой объясняя,
что она заслужена сполна.

Он живой,
летает за двоих,
высвеченный радостью труда,
да, живой он, летчик, не погиб,
не погибнет летчик никогда!

* * *

Я рад, что нету мамы у меня.
Она б, родная, все переживала,
меня бы ей так горько не хватало —
ведь смерть отца не вынесла она.

А так — я прихожу к себе домой,
бросаю в угол куртку и фуражку;
мне со стихом — наедине с собой —
почти не одиноко и не страшно.

Брат подрастет. Но не поймет того,
что не рисуюсь — экие детали.
Я просто рад, что в случае чего
я никого печальным не оставлю.

МОЯ РАБОТА

Вот ящик с металлом, который
несем осторожно втроем.
Залитые кровью приборы
мы влажною тряпкой протрем.

И траурно не промолчим мы.
Слезой не мигнет ни один.
Мы выясним, что за причина,
и сами потом полетим.

В висках набухает работа,
как перед посадкой рули,
и все-таки после полета
люблю я коснуться земли.

Да ты бы влюбилась, наверно,
когда у небес на виду
один, посредине ветра,
я вдоль по бетонке иду.

Как будто я очень высокий,
как мой непреклонный отец,
и тот же я,
тот же я сокол!
На этом и точка. Конец.

ПРАЗДНИК

Пойдемте, о други,
вперед и споем
о нашей работе,
о небе родном.

Товарищ комэска,
подвинь-ка стакан —
не видишь, какой
за окошком туман?

Давай наливай
привозного вина.
Неважно, что скажет
сегодня жена.

Тебе, как с погодой,
с женой повезло:
взорлить не дозволит,
а дома тепло.

Мы ей не расскажем
про наши дела,
какая усталость
сегодня была.

Когда бы пилотам
за всё — ордена,

была бы давно
без металла страна.

Пусть будут стаканы,
как души, полны,
хотя и не пьешь ты
с Победы, с войны.

Отпразднуем то,
что остался живой
ты сам, командир,
и ребята с тобой.

Давайте, ребята,
сегодня споем
о нашем комэске,
о небе родном!

* * *

Я приехал в городок хороший,
мне сказали — полетать дадут.
Знаю, кто-то скажет: — Ну и что же?
Но кому-то и взгрустнется тут.

Кто-то позавидует полету...
В гости пригласил меня дружок.
Камушками, медленно, как в воду,
меж деревьев сыпался снежок.

Там, где солнце тучи обжигало,
там, где небо плавило рассвет,
я касался радости штурвала —
трогал, как любил в шестнадцать лет.

...Человек рождается и плачет,
предвкушая будущую жизнь,
плачет человек,
и это значит,
что без слез ему не обойтись.

Но каким бы ни был он пророком,
будет помнить несколько минут...
Снег висел над городом далеким,
как большой, вселенский парашют,

облака тонули в половодье
под крылами плещущих высот...
Это жизнь!
В ней солнышко восходит,
в ней друзья бывают
и полет!

ПИЛОТКА

Пилотка!
Это слово как находка —
чтоб высота во всем,
чтоб побеждать.
Не зря
        войну протопала в пилотках
пехота,
        не умевшая летать.

Я начался,
        когда ее увидел я
у бати высоко на голове.
В пилотке той, как лучшее событие,
открыл я:
        «Чуев, 1-я АЭ» [1].
Чернилами
        размытыми и милыми
он жил,
        солдатской собственности знак.
Вот так
        я ощутил свою фамилию,
что это я —
        почувствовал вот так.

[1] Авиационная эскадрилья.

ЕЩЕ ОБ ОТЦОВСКОЙ ПИЛОТКЕ

На веранде она висела
под лучами летных полей.
Я примерил ее несмело,
а потом приловчился к ней.

С разрешенья, не то чтоб свято,
но волнуясь, носил — краса!
Хоть была мне
                    великовата,
налезала все на глаза,

надевал ее в школу весною,
а потом износил сполна.
Небом,
        доблестью
                    и войною
долго-долго пахла она...

* * *

...Я видел только чуб,
огромный, темно-русый,
и мокрый ветер долго рвал его,
как будто скорбь Советского Союза
оплакивала батьку моего.

И падал снег,
и, может, даже таял,
хоть таять было не с чего ему,
и, за машиной медленно шагая,
не понимал я, что и почему.

Во все глаза был чуб...
Весной зеленой
сажали вишни, вместе, поутру...

Мой батя плыл,
как в жизни, устремленно,
и только чуб трепало на ветру.

ВИШНЯ

Как-то с батею подсохшею весною
мы две малые вишни нашли,
откопали, забрали с собою
и домой на плечах принесли.

У забора сажали со звоном,
все соседи смотрели — куда!
О, как весело, непохоронно
эти ямы копают всегда!

Я учительшу спрашивал в классе
и растил, как щенят, деревца.
Но отцовская не принялася,
а моя почему-то росла.

И была в ней хорошая ветка,
обещая основою стать.
Глянул батя: — Моя-то калека.
Будем, сынку, с твоей собирать.

...Прохожу по знакомой дорожке,
не забыл я родные края.
Дом стоит, виноградом заросший,
в нем другая, чужая семья.

Но красавицей из раскрасавиц
повстречала меня, не дыша,

будто веткой к душе прикасалась
этой ласковой вишни душа.

И шептала мне:
— Выросла я вот.
Ты попробуй старанье мое.

Ни единой из брызжущих ягод
не сорвал я, не тронул с нее.

Мне отведать хотелось, конечно,
о, молящий и преданный взгляд!
Как тянулась доверчиво, нежно...
Ну а вдруг прибегут, накричат?

Лишь, покуда из дому не видно,
я тихонько к стволу прикоснусь,
и ни капельки мне не обидно,
и легка, словно ягодка, грусть.

* * *

Я сижу под вишней, отдыхаю.
Сходится отцовская родня.
Женщина, когда-то молодая,
вижу, долго смотрит на меня.

Говорит мне: — Батенька ты вылитый. —
Плачет: — Да какой же ты т а к о й!
Он, бывало, Ваня, перед вылетом
точно так же мне махнет рукой...

Что я ей напомнил? Я не ведал.
Но она с собою унесет
первые отцовские рассветы,
первый свой несбывшийся полет.

Где они расстались — я не знаю.
Почему их юность развела?
Женщина великая, другая
все на свете для него смогла.

Это так, наверное, немало
то, о чем молчит, не говорит.
Все, что даже мама не узнала,
женщина печальная хранит.

...Так она разбуженно глядела
памятью и верностью очей,
будто очень издавна жалела,
что не стала матерью моей.

ЭЛЕГИЯ

Следы оставив, отошли года.
Совсем недавно ты еще летал.
Я помню, батя, как тебя всегда
все ждал, встречал и снова провожал.

Так жизнь прошла, как трудный перелет.
Проснусь, бывало, — нет уже тебя.
Какой ни пролетает самолет,
из-под руки читаю номер я.

И не расскажешь ни в каких стихах:
с аэродрома, сильный, молодой,
идешь ты с чемоданчиком в руках,
с портрета даже смотришь, как живой...

Еще «Ли-два» проходят над землей,
о, как люблю я эти самолеты!
Мелькнут в окошке контуры пилота,
и я шепчу ему: — Лети, родной!

Никто не знает, как мне тяжело,
как больно крыльям раненой мечты.
Пусть ни тебе, ни мне не повезло,
я стану тем, что в мире было ты.

1955 г.

* * *

За что б ни взялся,
что бы ни сказал я —
все слышу незабытые шаги,
мне так охота,
чтоб сидел он в зале,
когда читаю про него стихи.

На нем пиджак и тенниска льняная,
ни летных птиц на нем, ни орденов,
в нем только летчик летчика узнает —
им это чувство высотой дано.

...Что было без тебя, мы вместе прожили.
Но часто горько оттого, отец,
что если даже сделаю хорошее,
то мне никто не скажет «молодец».

Я так хочу, чтоб истинно, как летчик,
еще земной и где-то неземной,
когда загну я «штопор» или «бочку»,
чтоб ты сощурясь наблюдал за мной...

1964 г.

МАРТОВСКИЙ ВЕТЕР

...Самолет вез в последний
рейс моего отца. Через 17 лет
в этот день родился мой сын.

Мартовский ветер врывается в улицу
и у домов обдирает бока.
Грузный, как мамонт, он медленно тужится
улицы узкой сломать берега.

Мартовский ветер, как зарево, черный,
черный, как гомон взлетевших галчат.
Голый бульвар, будто лес облученный...
Кажется, дети повсюду кричат.

Улица черная, я ожидаю
сына рожденье.
                    Уверен, что — сын.
Ветер задел горизонт,
                              и у края
трогает полы небесных гардин.

Небо явилось распахнутым светом,
белое небо воскресшего дня.
...Сыну пусть небо напомнит об этом
в день, когда больше не будет меня.

1971 г.

САПОГИ

Отец до глянца драил сапоги.
Что из того?
                    Кому все это нужно?
От блеска их не жмурились враги
и мир не избавлялся от оружья.

Он холил их на совесть,
                              не за страх,
пуская в дело щетки и бархотки,
и, как желтки на черной сковородке,
по солнцу разливалось на носках.

А ночью — лужи всюду и везде,
еще асфальта и в помине нету,
и звезды блещут шляпками гвоздей,
как будто ими ночь прибита к небу.

На улице у нас такая грязь,
такая слякоть, черная, как вакса...
Носил обувку батя,
                              умудрясь
в грязюке той не вымазать ни разу.

...Истерлись голенища-зеркала —
в них можно было запросто глядеться, —
и нет отца.
               Такие вот дела.
И отцвело бессмертниками детство.

Но сапоги сверкали у отца,
как будто бы такими были сами.
Когда он шел,
                    в них плыли небеса
и вдоль заборов зайчики плясали.

В ГОСТЯХ У МОСОЛОВА

Есть к подвигу любовь.
Ее основа
да будет жить,
как дар,
как волшебство.
Вот я сижу в гостях у Мосолова
и сам не знаю,
что люблю его;

что чувство,
неосознанное даже,
во мне, как листопад,
как первый снег.
Он глянет только,
он словечко скажет —
и видно, что хороший человек.

Какие есть пилоты у России! —
с медалями француза де ля Во.
Дают их
за рекорды мировые,
но три такие —
только у него.

Он дважды,
трижды
умер и родился,
великий русский летчик Мосолов,

когда в покоях Боткинской больницы
врачи его сшивали из кусков.
Бинты на нем
насквозь пропахли гарью,
от лютой боли
наступала ночь.
Тогда пришел к нему
пилот Гагарин —
не подбодрить,
а вместе превозмочь.

...Хранит не боль —
улыбчивую шалость —
любительского фильма карнавал.
Ведь это свет от Юры
отражался
и на бегущей пленке
застывал!

...О, если б можно было,
чтоб друзья
делили горе —
каждый понемножку.
Такое горе
разделить нельзя,
такое горе
можно лишь
умножить —

на всех,
кто с ним работал и дружил,
на всех, кто знает,
что такое небо,
на всех,
кто этим небом дорожил,

хотя пускай
ни разу в небе не был...

Хозяин электричество включает.
Ни Юры,
ни медалей де ля Во.
и только мы,
вечерние,
за чаем,
как будто бы и не было всего.

Вернее, было все,
но без аварий,
без мук
и неутешного следа.
И в Звездный
возвращается Гагарин
и, может, завтра
позвонит сюда.

КОГДА МНЕ ВСПОМИНАЕТСЯ ГАГАРИН

1.

Когда мне вспоминается Гагарин,
не верю — нету
и не верю — был,
как будто сон пронзительный подарен,
который никогда не проходил.

В том сне
улыбки солнечная сила
была душой славянскою светла,
она людей людски объединила
и высоко Отчизну подняла.

В ней слава первой
мужественной сини
и теплоты апрельской благодать.
Она сильна мальчишками России,
которым предстоит еще летать.

2.

Анне Тимофеевне Гагариной

Холодят и жгут воспоминанья,
босиком, росистой тишиной
бродят у разрушенного зданья
детства, разоренного войной.

Отмывают в прошлом, как старатели,
золотую ласку матерей.
Наши малограмотные матери
многих образованных мудрей.

То, чему нас мамы научили,
скрытой добротой отозвалось,
и ничьи сторонние усилья,
и беды негаданная злость

не смогли нам крылышки подрезать,
воздуха высокого не дать.
Укрепилось жизненным железом
золото, что вынянчила мать.

3.

...Всей семьею голодной весной
в плуг впряглись —
лошадей-то не стало.
Три фашиста, смеясь за спиной,
наблюдали,
как детство страдало.

Мальчик плюнул.
Лопату схватил.
И родители плуг опустили.
Пусть у нас
нету хлеба и сил,
но достоинство есть у России.

Три фашиста разинули рты:
мальчик рыл в молчаливом ударе.
В нем светились Победы черты.
Это был уже
Юрий Гагарин.

4.

Простота у великих людей
есть особая степень величья,
если та простота без затей,
не наиграна
и привычна.

Мы летели на Дон...
Небольшого росточка
нас встречал человече —
седые усы.
Ну конечно же он,
ну конечно же точно —
самый главный казак
на великой Руси!

Никогда не забуду —
заплакал болгарин
(с нами немцы, поляки смотрели поля):
«Это что ж за народ!
Космонавт —
так Гагарин,
а писатель —
так Шолохов!
Ну и земля!»

...Вечер ткал голубой матерьял,
среди звезд превращаемый в синий,
и Гагарин под дубом стоял,
где встречались Григорий с Аксиньей.

Было весело.
Много людей,
все запомнящих как откровенье.

Было грустно:
закончился день,
и не будет ему повторенья.

5.

Морозный день.
Аллея космонавтов.
И алые гвоздики на снегу.
Здесь говорить о мужестве не надо,
а о любви сказать я не смогу.

О той любви, что в небе окрыляет
бескрылое созданье — «человек»,
о той любви, что лепестки роняет,
как алая заря, на этот снег.

...Твое лицо, спасенное металлом,
как Русь, открыто вьюгам и ветрам.
оно давно взошло над пьедесталом —
еще от бронзы ты отдельно, сам...

Я постою, немножечко побуду,
под лютым небом шапку теребя.
Нелепостью
ты вырван отовсюду —
из улиц, из полетов.
Нет тебя.

На пасмурном, завьюженном граните,
что зодчим отшлифован в постамент,
слились прожилок дымчатые нити
в нетающий,
один высотный след.

Дрожит заря, оплавлена неровно,
как будто в злой окалине металл,
и сталью,
как изломом лонжерона,
блестит в снегу гранитный пьедестал.

6.

Если
отойти от Мавзолея
влево
ровно двадцать пять шагов,
между елок издали чернеет
золотым квадратом —
КОМАРОВ.

Через надпись,
мрамором левее...
Двух высоких подвигом сынов
в вечности,
под сенью Мавзолея,
разделяют несколько шагов.

7.

На съезде Комсомола нет Гагарина.
Ни в зале нет, ни в коридорах нет.
Пускай давно, нелепостью ошпарены,
мы пережили горестный момент,
шеренгами печали затаенной
весь зал встает в безмолвной из минут.
Встают Семен Михайлович Буденный,
Родимцев,

Терешкова...
Все встают.

Да будет юность в радости и боли
и помнить, и наследовать века,
как рос он и учился в Комсомоле
и выучился на большевика!

8.

А нам завещаньем осталось
доставить в сыновнюю даль
такую безмерную радость,
такую большую печаль!

Победное пламя «Востока» —
как вымпел в сердца и умы,
и —
 траурной лентой потока
с тобою прощаемся мы...

9.

На чистых путях Вселенной,
 где воздух высок и светел,
и на неземных дорогах,
 где воздуха вовсе нет,
для всех поколений жизни
 ты будешь всегда бессмертен,
тебе соберут потомки
 из звезд и планет букет.

На каждой живой планете,
 Родины не покинув.

поднимешься в новых сплавах,
тогда далекий уже.
Жил человек на свете,
людям светил,
и поныне —
как будто солнечный зайчик
у каждого на душе.

Тебя создала природа
высшим своим вдохновеньем,
чтоб людям открылись будни
в дивной твоей красе.
Спасибо тебе за то, что
ты нам подарил волненье,
спасибо тебе за то, что
тебя полюбили все.

* * *

Как леса,
            опали, отшумели
золотые, в бархат, небеса.
Никогда в заутренней купели
не услышу неба голоса.

Тяжко пассажиром стать пилоту —
вот и все пике и виражи!
Не себе уже, а самолету
говорить: выравнивай, держи!

И коситься в правое оконце...
Больше никогда не полечу,
чтоб глазуньей зашипело солнце
на крыле —
            как сам я захочу.

Только память...
О, какая милость —
как в назад прокрученном кино, —
в памяти моей соединились
главные события в одно.

И, предлетной дымкою рассеясь,
всходит утро батиным лицом.
А теперь
            и Юрий Алексеич
Часто снится рядышком с отцом.

Всех друзей
я вспоминаю заново,
будто нас одна связала нить.
Помню и Володю Мартемьянова,
о котором стали говорить.

Самые жестокие удары,
самые любимые друзья...
Хоть бы что-то накрепко пропало,
чтоб утрат недосчитался я!

Как корабль,
нагруженный любовью,
так плыву — глубоко, тяжело,
и дрожит, склоняясь к изголовью,
юности зеленое крыло.

* * *

Уснут расчеты на столе.
Под утро, нараспашку,
он выйдет в дождь,
как в двадцать лет,
забыв надеть фуражку.

И ступят медленно на трап
уверенные люди,
и высоту прорвет корабль
нетерпеливой грудью.

А он засмотрится в рассвет,
где белый след растаял,
наверно, так же, как поэт,
когда стихи читает...

Уносят люди алый флаг
к нетронутым причалам,
и все — обычные дела,
и все — всегда начало.

Тебе пока что двадцать лет,
Сережка или Сашка,
ты жадно ходишь по земле,
забыв надеть фуражку.

1960 г.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР

Подмосковье. Апрель. И по глине дорога.
Неприметная дача без лишних затей.
И совсем не похож на небесного бога
человек, запускающий в небо людей.

Был наслышан о нем я,
                                        но вижу впервые
эти волны волос на крутой голове
и глаза — голубые?
                                Не помню какие,
но запомнил улыбку,
                                как будто их две:
на глазах, на губах —
                                две улыбки, как дети,
вдруг вошел незнакомец, и сдержана прыть.
«Не люблю телефон.
                                Мне в глаза поглядеть бы,
а тогда уже можно и поговорить».

В мягкой куртке на молнии,
                                        в тапках домашних
он к садовой скамейке шагает со мной.
Я немало встречал академиков важных —
как приятно, что он вот такой,
                                                не иной!

И не буду сейчас говорить о заслугах,
что он сделал, каких удостоен наград.

Мир узнает потом,
в оркестровую вьюгу,
сколько раз он Герой или лауреат...

Сколько вынесли космоса тучные плечи,
сколько врезалось солнца в улыбки морщин!
Провожает в полет,
и встречает,
и вечно
столько будет еще для тревоги причин!

Говорит вдохновенно, прочувствовав снова,
он о первых ракетах, докладах в Кремле,
про великих —
про Стечкина и Королева,
чьим преемником стал он на этой Земле.

...Пусть бессонные ночи,
но не было б хмурых
неожиданно черных рассветов потом.
И уже за столом
помянули мы Юру,
помянули мы многих ребят за столом.

Но во имя науки и всей авиации —
хоть хозяин и любит с гостьми посидеть —
он не может, не должен
грустить, расслабляться:
днями запуск,
и снова кому-то лететь...

ПРОЩАНИЕ

Памяти Г. Добровольского,
В. Волкова, В. Пацаева

Назавтра снимут траурные флаги,
в стене цементом мрамор закрепят.
Лишь в памяти людской да на бумаге
останется улыбчивость ребят.

Теперь уже — отныне и навеки —
их будут вместе вспоминать, втроем.
Живет Москва. Живут поля и реки.
Актюбинск и Одесса. Мы живем.

Стоим на Красной площади потупясь.
Теперь без них мы долго будем жить...
Москва вас не забудет
и Актюбинск,
а про Одессу что и говорить!

Запомним вас
шагающими в небо
в пилотках, в летных куртках, налегке...
Еще ни боли,
ни бессмертья нету
на том земном,
последнем ветерке...

2 июля 1971 г.

ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТА ДОБРОВОЛЬСКОГО

Я спешил не для интереса,
а сказать, как живому: «Привет!»
В память
лучшего Жоры
Одессы
обозначен новый проспект.

...Как-то ехали мы в машине,
я не знал — полетит или нет,
но не думал, что так кручинно,
черной лентой ляжет проспект.

Думал —
если не загордится,
может, встретимся, посидим...

Вот такая была страница.
Вот опять и свиделись с ним.

БОЛТАНКА

И в качке можно выстоять,
в любой болтанке — да!
Когда дороже истина,
болтанка — ерунда.

Заходы на посадку
и перепад высот
порой куда не сладки —
кто полетал, поймет.

Или — отказ мотора,
или — расчет глиссад...
Фиксировать приборы
и в клеточки писать.

Все заносить в тетрадку,
да ровненько — ей-ей!
Измотанный болтанкой,
не думаешь о ней.

Скорей бы прилетели,
сегодня тяжело,
скорей бы до постели
добраться повезло!

Приду, возьму газету
и снова полечу
по строчкам...

Чтенье это
сейчас не по плечу.

Не то что буквы скачут,
а просто все летит,
а просто мир иначе
со мною говорит.

И чувствую в покое,
как просятся, тихи...
Занятье немужское,
проклятые стихи.

ВОЕННЫЕ ПОЭТЫ

Когда ложатся тени на поляну
и солнце сбоку, как бы невзначай,
устало цедит в заросли бурьяна
надменно-равнодушное «прощай»,

когда спокойны дали бесконечно,
как небеса, прекрасны без прикрас,
и можно думать о большом и вечном,
я почему-то думаю о вас.

На вас, Гудзенко, Шубин, Недогонов,
на вас, Максимов, на тебе, Егор,
незримые военные погоны
нетленно величавы до сих пор.

На гимнастерках планки боевые,
как отблеск первой славы молодой,
двумя-тремя строками о России,
единственной оборванной строкой...

Когда Орлов, Луконин, Наровчатов
шинелки перешили на пальто,
был новый шаг в словесности впечатан,
который прежде не свершил никто,

Пусть мне стезя намечена другая,
пусть мне иная доля суждена, —
как старший сын, построчно присягаю
и становлюсь под ваши знамена́.

ПЕСНИ

Песни, как и люди, отслужили...
Лишь иногда подступит к горлу ком:
«Веди нас в бой,
товарищ Ворошилов,
донецкий слесарь,
боевой нарком!»

«Веди нас в бой!» —
и плачут ветераны,
и над гвардейским Знаменем полка
плывут туманы,
как аэропланы,
вдали искрится сабельно река...

Песни молчат.
Но их не позабыли —
каждый куплет я в ножнах берегу.
Даже из пушек,
тех, что отслужили,
в трудную пору
мы били по врагу!

Время ракет и бешеных моторов,
помни о той решительной поре,
как воевала
гордая «Аврора»
вновь
в сорок первом
грозном октябре...

НАДПИСЬ НА ПАМЯТНИКЕ

Спасших
            человечество от нечисти
в самые суровые года,
павших
        за свободное Отечество,
люди,
    не забудем никогда!

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ

Брестская крепость
в тумане над Бугом
острой,
бурьянной стеной кирпича
мне на ладони
легла полукругом
алым,
как вечный огонь,
горяча.

В небе
луна пограничная дремлет.
Теплой щекою
к окошку прильну.
Тянутся к поезду
руки деревьев,
щетками-ветками
драят луну.

И остается
отныне со мною,
в дотах души
голосами гремя,
на кирпичах,
опаленных войною,
русская надпись:
«Умрем, не срамя».

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

Люблю документальные картины,
смотрю их, широко глаза раскрыв.
И эти строки посвящаю сыну
того, кто снял
последний в жизни взрыв.

Там ходят не по чеховским дорожкам,
там у плетня
слезами
плачет мать,
там падают на снег не понарошке,
и после съемок им уже не встать.

Там жизнь и смерть показаны не броско:
мешает слякоть, застилает дым.
И входит не артист,
а Рокоссовский,
и мы в конце картины победим!

* * *

С той поры, как живу в Подмосковье
и домой приезжаю, всегда
прохожу здесь не то чтоб с любовью —
просто рад, что вернулся сюда.

По-иному, не так, как впервые,
у канала, у волжской воды,
рад тому, что березки живые,
и что главное — нету войны.

Это все мне родное и милое...
Здесь с героями насмерть стоял
тот, с красивою польской фамилией,
знаменитый потом генерал.

Заржавела война мировая,
в старом дубе осколком скрипя.
Но солдатом переднего края
я сейчас ощущаю себя.

Тем, единственным, первым, безвестным,
без кого б они взяли Москву,
запевалою будущей песни,
для которой на свете живу.

* * *

Ревмя гудели облака
и вспыхивали ало,
как бы незримая рука
природу поджигала.
Как будто в красное стекло
глядишь на злое небо,
где лоб ко лбу, крыло в крыло
твое воюет «мне бы!».
Где ты меж свастик и крестов
горишь и не сгораешь
и словно Русь в конце концов
ты славно побеждаешь!
...Там сталь корежилась в огне
и убивала с лету,
там — на войне как на войне —
зверели самолеты.
И, покидая карусель,
погибельно дымили,
как будто черная метель
гнала их до могилы.

О, если б можно в небеса
под красною звездой...
Воздушный бой — во все глаза,
кругом воздушный бой.

А ниже — медленно ползет,
не выдержав нагрузки,
четырехкрылый самолет,
родимый «кукурузник».

Он ранен в спину и в крыло,
но кашляет — живой!
Летать без боя тяжело,
а тут воздушный бой...

И ты с ребятами сквозь гул
бежишь за лес, к поляне,
ты видишь: летчик дотянул,
да вот он сам в бурьяне.

Стоит и смотрит,
как отец,
на вас, чума́зых, в саже.
Что завтра немцы будут здесь,
подумает, не скажет.

А у него такой же сын,
как эти человеки.
И далеко еще Берлин,
будь проклят он навеки.

* * *

В моей стране есть ветхая избушка,
где ивушка спускается к реке,
там каждый вечер русская старушка
сидит у лампы с орденом в руке.

Ей столько лет! И знать-то ей не надо,
что где-то есть полесская трава...
Почтим вставаньем младших лейтенантов
и наши тихоходные «У-два»!

Сгорел планшет, расплавились очки,
земля сокрыла ржавые обломки.
Но их отроют. И поймут потомки,
что были на земле большевики!

Я говорю по праву гражданина:
я сын того, кто в небе воевал,
и детской фотокарточкой в кабине
я тоже на заданья вылетал...

Но где-то есть в спокойной деревушке,
где ивушка спускается к реке,
одна на свете слабая старушка
с таким тяжелым орденом в руке.

ФОТО В МОЕМ ДОМУ

Выпуск Батайской школы.
Тридцать девятый год.
Батя мой, парень веселый,
шутка ли — красный пилот!

Хлопцы — приятно глянуть,
сколько их тут, родных...
Лишь предвоенный глянец —
все, что осталось от них.

Да над Москвой знамена
те же, что в их года,
да праздник в мае зеленом,
Девятого —
навсегда.

* * *

Я сажусь в самолет «мессершмитт»,
что в музее германском стоит, —
разрешил мне услужливый гид
оценить самолет «мессершмитт».

Я в кабине, как надо,
сижу
и в прицел незнакомый гляжу.

А в прицеле —
стена и окно,
и еще —
то, что было давно.

Портупеями стянутый ряд.
Сто красавцев в пилотках.
Парад.
Безмятежное небо в петлицах,
и готовность,
и воля на лицах.

А в прицеле —
мой батя, отец,
оперившийся только
юнец.
А в прицеле —
мой батя летит

лобовым кулаком
в «мессершмитт»!

В кружевах виражей и огня
жизнь и смерть
будут пристально драться.
только скорость —
шестьсот у меня,
а у бати —
всего полтораста...

Скоро, скоро —
мы ждем вас,
«Ла-пять», —
возгорится заря
побеждать!

«Мессершмитт»,
словно черный магнит,
поцарапанный
в зале стоит.
На табличке читает народ:
«Летчик Венцель.
Рекордный полет...»

И ни слова
о чем-то другом,—
лишь малеванный пляшет
дракон.

Мюнхен, 1972 г.

ВХОДИЛИ РУССКИЕ В СОФИЮ...

Входили русские в Софию,
и вся болгарская страна
несла бойцам цветы живые,
как и в былые времена.

Стаканы славили победу,
гремел «Интернационал»,
и каждый добрый внук за деда
легенды Шипки вспоминал.

Тяжелой гусеницей танка
эпоха двигалась вперед.
Но без потерь провел атаку
Наш Третий Украинский фронт.

Да и могла ль дозволить пушкам
стрелять в друзей земля славян,
где русского зовут «братушка»,
а в селах — просто «дед Иван»!

Где мне поведали с любовью:
когда страна спокойно спит,
как часовой у изголовья,
Алеша каменный стоит...

ГОБИ

Унылая Гоби,
колючая Гоби,
но сердцу монгола она дорога.
В ее одичалой,
звериной утробе
буранят пески
и метелят снега.

И бродит архар
по отлогим отрогам,
кочует верблюд
и летают чирки.
Здесь нету дорог,
и повсюду дороги,
повсюду седые как небо,
пески.

...Великие орды Чингиза,
Батыя
рассыпались в прах по земле,
как песок.
Коварства большие
и сабли чужие
не раз посылал через Гоби
Восток.

Но помнит пустыня
иные объятья,

и алой зарей запылала звезда.
Вы здесь похоронены,
русские братья,
и памятник славы над вами —
всегда.

Здесь красное знамя
прошло новоселом,
и светом Кремля
озарило народ,
и орденом русским
на куртке монгола,
как кровное братство,
победно цветет.

ПАМЯТНИК

В Западном Берлине совершено несколько вооруженных провокаций у памятника погибшим советским воинам.

(Из газет)

Молчит в Берлине каменный солдат.
Стоит вдали от Родины, один.
В руках отвоевавший автомат
и под ногами Западный Берлин.

Он пал в бессмертной схватке за Победу.
Прошел войну Европою сполна.
Но про Победу он еще не ведал,
не видел, как закончилась война.

Застыли в карауле у солдата,
чтоб не скучать парнишке одному,
родной земли служивые ребята,
которым нынче столько ж, как ему.

Но я читал: опять в него стреляют
и мюнхенские песенки поют,
из сумрачного парка выставляя
винтовочную ненависть свою.

Да, на губных гармошках мы играли,
что батьки нам с победой привезли,

и ржавые трофейные медали
на ремешках таскали кобели...

Но день такой когда-нибудь наступит:
уйдет последний ветеран войны,
и только память сердцем не остудят
судьбой отца взращенные сыны.

А ну, вылазь из-за куста!
Что надо?
Мне отвечай,
                    чего ты хочешь, ну?
Я — сын великодушного солдата,
который в нашем славном сорок пятом
не погубил, а спас твою страну.

Он каменный теперь. Молчит, не скажет.
Но, коли дело склонится до драк,
то за него сыны тебе покажут
железный кантемировский кулак.

ГОСТИ «ИНТУРИСТА»

Едут бабушки — сумки, зонтики,
шляпки, рюшки, жабо, вуаль —
не в Италию, не в экзотику,
а в смоленскую нашу даль.

Долго едут в мягком автобусе,
остановок, волнуясь, ждут
и водителя не без робости
теребят через пять минут.

Едут матери из Германии
через Брест, Смоленск — до Москвы
и глядят с особым вниманием
на овраги, холмики, рвы.

Не просторы манят раздольные,
хоть просторы им в первый раз, —
ищет каждая место окольное,
где остался Курт или Ганс.

Где месили, топтали, ездили,
шли в пыли, закатав рукава,
по жнивью белокурые бестии
мимо стрелок «Смоленск», «Москва»...

И в деревне гжатской каратели
малыша несли на штыках.

Оказалось —
у них есть матери
со слезинками на щеках.

Вроде — вежливые, приличные,
и привычны руки к труду.
Разрезают кульки герметичные,
достают из пленки еду.

Проливают слезы беззвучные,
сторонясь окрестных ребят.
Поминально бабки безвнучные
в русском поле завтрак едят.

Сколько б ни было нив исхожено,
хоть теперь-то и жалко вас,
не отыщете, не положено,
чтоб в могиле лежал ваш Ганс.

...Он нигде на земле не значится.
Оборвался крестовый путь.
Мы сровняли могилы начисто —
кто посмеет нас упрекнуть?

* * *

Повсюду называют нас «Иваны».
Кто злобно, кто шутливо —
но вот так.
И каждый раз оказывалось странно,
что, в общем-то, Иван-то не дурак.

Он шел, Иван, за долю
и за право
рубить избу и обнимать родных.
Он знал, Иван:
за ним его держава,
и для державы не щадил иных.

И заслонял холодную Европу,
и задыхался на чужом ветру
от подлости,
от пули,
от хворобы,
и только сердцем чуял:
не умру!

И помнил:
у него —
не у кого-то,
у русского Ивана —
хватит сил.
И шесть десятков черных самолетов
в тяжелом небе Ваня завалил!

Простил? Забыл?
И пляшет, и пирует,
и поскромнее битых им живет,
выдумывает,
строит,
озорует
незлобный, понимающий народ.

И вечно будет,
миром осиянна,
земля качаться в теплых облаках,
покуда есть Иванычи,
Иваны,
покуда всех нас
величают так.

СЕВЕРО-ЗАПАД

Вот здесь и начало Отчизны,
где Трувор с дружиной ходил,
где светлым знамением жизни —
полки безымянных могил.

Вот здесь геометрия взлета
седых, равнобедренных крыш,
где в капельках росного пота
земля, на которой стоишь.

И гордые тучи в покое
на старой изборской стене,
и вечное море Чудское
с известными псами на дне.

И дом Карамазовых в Руссе,
и гения страшный овал,
который спокойно, как устье,
всемирную бездну вобрал.

Как вечные черные руки,
деревья земля вознесла
сквозь муки деревни Красухи,
деревни, сожженной дотла.

Здесь чувство Отчизны победно
восходит к началу начал,

и здесь оно очень конкретно,
как желтый сосновый причал,

как девочка — вся золотая, —
припав на лодчонке к рулю...

И я в этом небе летаю,
и я эту землю люблю!

СОБОР НИКОЛЫ

— Ой ты, князь, ты наш князь,
не изволь поразгневаться,
но негоже придумал, радетельный князь,
мы отыщем тебе раскрасавицу-девицу,
и поженишься, ласковый, благословясь.

Не пристало тебе, новгородскому князю,
девку черную сватать — ты нас не позорь!
Мы тебе не дозволим холопскою грязью
замутить родовитую светлую кровь.
Не пристало тебе!

Одинокий и сирый,
князь пошел по церквям, неприкаян и тих.
Но ресницы они перед ним опустили
отвергающих, сумрачных окон своих.

Издаля проплывали, что пряники белые,
а просить подошел — не укусишь небось!
Всем попам
его с девкой венчать не велели,
пролилась по амвонам боярская злость.

Князь пригубил зело.
И, придя в изумленье,
«Быть сему!» — порешил, и надел сапоги,
и пред людом простым
князь упал на колени,

и взмолился высокий:
— О, люд, подсоби!

...Будут после построены Киль и Манчестер.
Шли во двор горожане с поклажей своей,
и ушкуйники шли, те, что «свет многочестный» [1]
наблюдали в просторах холодных морей.

Приходили с Гончарного да из Людина,
со Словенского да с Неревского — со всех,
всех концов Новограда, земли господина,
шли мужи работящие, люд, человек.

Мастера себе знали достойную цену,
и за несколько ден — не на день, не на два —
из озерного камня поставили стены,
укрепив валунами фундамент сперва.

И обвенчан был князь. Новгородцы плясали,
и веселье богато текло по усам.
Князь глядел на бояр: «Мы и сами с усами.
Не хотели — так сам! Свой поставили храм!»

И народ веселился, родимый и голый,
и юродивый страждал покорно и зло.
И высокие стены собора Николы
от камена багряна краснели зело.

---

[1] Северное сияние.

* * *

Что мне делать, что мне делать,
если прямо на меня
наплывает черный демон,
демон ночи среди дня?

Я уйду, сотрется имя,
ни о чем не говоря.
Будут ехать пред другими
в поле Три богатыря.

Черный демон, черный ворон
по-над ними не возник,
и вокруг огромный город
славно трудится без них.

И не я душой нетихой
это чудо написал,
но хранил их путь великий
через поле, через зал.

Я уйду. Сотрется имя.
Только прожил я не зря,
если дальше пред другими
едут Три богатыря.

* * *

На кривых переулках старинной Москвы,
там, где язвы изодранных ветром обоев,
где ломают трущобы,
увидите вы,
как особенно ясное, и голубое,
и нежданное утро
являет весна,
как сочатся сосульки
и снег пробивают,
и капелинки падают, что семена...
Мостовая,
весны полоса рулевая,
приготовилась к лёту рассветов и зорь,
облаков и цветов, тополиного пуха.
И проявленный таяньем
мусор и сор
умудренно блестит,
как без пользы наука.

* * *

Люблю Москву,
когда еще не ночь,
а только вечер, но уже не ранний,
когда, не в силах темень превозмочь,
кроссворды окон зажигают зданья.

Деревья будто вырезаны в небе
и светятся прожилками зари,
и, тишине зеленоватой внемля,
как аисты, застыли фонари,

высвечиваясь желтыми глазами,
плывут, в Москве-реке отражены...
Как будто мир
на миг отдельный замер:
какие ночью мы увидим сны?

С какою сказкой завтра встанут люди
и вынесут, согретую в тепле?
Впервые за день думаешь о чуде,
что ты живешь впервые на земле.

Лучи машин охватывает темень
и медленно сжимает их вдали...
Идешь и видишь сам себя отдельно
от воздуха,
от тени,
от земли.

* * *

Москва-река еще зимой не скована.
И лишь прозрачный, слюдяной ледок,
дрожащий не по-зимнему рискованно,
впаял в себя то ветку, то листок.

Обнажены деревья — это значит
вселилась смелость, величавость в них.
Комочек белый за кустом, как зайчик,
тщедушно притаился и затих.

Еще и снегу делать было нечего —
прошел и канул в речку без следа,
и, как трава в невидимых кузнечиках,
по-летнему стрекочут провода.

Листки осины — трепетные пальцы —
о тучи оцарапались насквозь,
а тучи в небе начали слипаться,
как будто солнце сваркой занялось.

Земле не спится, только лишь зевается,
и день слегка притушен, но погож.
Еще зима зимой не называется,
и осенью уже не назовешь.

* * *

Художник, василька не прозевай,
когда еще он только расцветает,
когда он слабый ротик разевает
на самый сладкий солнца каравай.

Не опоздай, художник, не проспи!
Искусство естества неповторимо,
и так легко под солнцем опалимы
его неоперенные ростки.

Он станет металлическим, цветок,
заматереет в ливнях и пожухнет,
а тронешь взглядом —
и под взглядом рухнет
последнего дыханья лепесток.

* * *

По зеленому бульвару по Тверскому
с незавязанною папкою в руках,
распаленною надеждою влекомый,
я несу свое тщеславие и страх.

Все, что выдумал в ночах провинциальных
ожиданьем озадаченной тиши,
все, что нынче для меня мемориально,
было сказано в тетрадке от души.

На бульваре ждут меня великодушно
Саша Говоров да с Фирсовым вдвоем.
Я читаю им и дерзко, и послушно
оттого, что неуверен...
А потом
пиво резкое с поэтами на равных —
да, на равных! — выпиваю я впервой,
и хоть знаю, что гордиться очень рано,
все же чуточку доволен я собой.

Небо ровно проводами разлиновано,
словно школьная, по-русскому, тетрадь,
наплывает, словесами очаровано,
и как будто начинает признавать.

Я хочу его потрогать — не выходит,
все же чуточку до звезд я не дорос.

Может, лучше не срамиться при народе
и заняться математикой всерьез?

Небо в звездах — опрокинутым колодцем...
Но победно в общежитие, домой,
так спешу, что по тетрадке отдается
упоенная брусчатка мостовой.

* * *

Моя московская квартира
не шибко мебелью полна,
но теплой клеточкою мира
друзей приветствует она.

Сверчок недавно поселился,
такой, казалось, пустячок,
такая малость,
                    но в столице
не часто радует сверчок.

Друзья нагрянут издалека
в мой непутевый тарарам.
Пилоты Севера, Востока
со́ мной дымят по вечерам.

Из Кишинева и Якутска,
с Амура, с Дона —
                    все друзья!
И дружбы верное искусство
дарует новые края.

* * *

Уеду я в село Завидово,
поэмой новою кипя.
Не надо никому завидовать,
а надо веровать в себя.

Расти, как бор незнаменитый,
и вырасти в могучий лес,
внутри для путников
                    повитый
нежданной яркостью чудес —

непроторенными тропами,
что лишь намечены тобой,
особой ягодой,
грибами
и родниковой,
                    ключевой,
гортанно рвущейся водицей,
текущей плавно через лес...

И каждый путник подивится,
что рядом шел,
                    а не был здесь.

* * *

В звучанье слова мятного «купава»,
в салютных брызгах капелек росы,
поникли оземь ласковые травы,
слетел туман под взмахами косы.

В плечах такая удаль молодая,
такая сила скоплена в руках,
когда земли и неба не хватает
на каждый твой
— шутя!—
единый взмах.

Гудит, как шмель, разбуженное лето,
работа с песней ладится спорей,
и спелым духом будущего хлеба
над головой повеяло с полей...

* * *

Раздувает белые пожары
ненасытно-ярая пурга.
На седой макушке полушарья
снятся васильковые луга.

И девчонка, юная, босая,
по земле проходит наяву,
стебельками ног перебирая
росную высокую траву.

Солнца восходящего полоска
отделила день от темноты,
и босые пальцы, как расческа,
пропускают листья и цветы.

А ногам щекотно и привольно
в ласковой июльской теплоте...
...И проснется парень,
и невольно
улыбнется снегу и мечте...

Голубая льдина виновато
вдалеке от краешка земли
вдруг запахнет зеленью примятой,
по которой только что прошли.

Знать, наверняка необходимо
для бессонной памяти тепла,
чтобы эта северная льдина
вечно нерастопленной была.

РОЖДЕНИЕ ДНЯ

Безоблачный, в тонкой лазури,
прозрачный повис небосвод.
И месяц, и звезды уснули,
горячее солнце встает.

Поляна в зеленом уборе,
деревья умыты росой.
Далеко-далеко, как море,
доносится шум городской.

Лучами обласканы склоны,
акации пьют синеву,
и тень под раскидистым кленом
прохладой легла на траву.

Трудяга — букашка с добычей
ползет, выбиваясь из сил.
Все это так просто, обычно,
как то, что и день наступил.

1956 г.

* * *

Стаканом лесной чистоты
я пью несогретое утро.
Безлистно мерцают кусты,
и сосны задумались мудро.

Зимеет. И скоро мороз
на веточки иней нанижет.
В снежок подосиновик врос,
похожий на пряник давнишний.

А снег выпадал,
                    и теперь
клочками светлеет занятно,
где холмик пригнулся, как зверь, —
по рыжему белые пятна.

Я больше, чем зиму, люблю
предзимье,
          ее ожиданье —
какому там быть февралю,
какое построится зданье?

КАВКАЗСКОЕ УТРО

Забываются лица,
но помнится
невесомый на скалах июль,
и жара разливается понизу,
словно солнцем намазан аул.

И домá, как на нитке чурчхелы,
ожерельем протянуты в ряд,
где утес, будто хлеб зачерствелый,
камнеклювые ветры долбят.

И волнистый туман меж домами,
словно синий на сливах налет:
прикоснешься,
сухими губами —
сладко утро в тебя потечет!

И, чужому акцénту внимая,
втайне дружески благодаря,
ты пойдешь по тропе, понимая
лишний раз:
не напрасно, не зря...

Синелюбого утра богатство
и зеленой долины крыло
постоянны, как небо,
как братство,
что сюда от равнин привело.

ЛЕНИНГРАД

Я люблю Ленинград, будто сам ленинградец,
нет, не просто проспекты, Неву, Эрмитаж,
я люблю это слово —
в нем высшая радость,
оттого что он есть,
величавый и наш.

Я скажу «Ленинград» — и рассветом умоюсь,
это слово прозрачно,
но звонко, как щит.
Ле-нин-град по слогам —
как в грядущее поезд —
у истории мира на стыках стучит.

* * *

Здесь Пушкин жил.
                              И хочется вернуться,
тихонечко в прихожей постоять,
к его столу запретно прикоснуться
и воздухом бессмертья подышать.

Потом уйти далеко и навеки
в стихию повседневного труда
и вспомнить о великом человеке,
который не изменит никогда.

ОБ АЛЕКСАНДРЕ ПРОКОФЬЕВЕ

Мы уходим, живые,
кому-то запомнясь,
и поэтому дороги мы навсегда.
Продолжается памяти старая повесть —
в ней смешались дома, переулки, года.

Там, где дней вдохновенное нагроможденье
проколол, как ветра,
Петропавловский шпиль,
на граните искрящемся
вспыхнувшей тенью
превращается в память
недавняя быль.

Вдоль по улице Кронверкской —
вспомнилась улица,
а вернее, не вся —
там, где наискосок
он шагает по ней...
Даже если и хмурится,
то улыбчиво хмурится, как колобок.

Так и катится,
круглый и сказке подобный.
Мне смешным и смешливым казался,
ей-ей!
Петроградская кепка
и плащ допотопный,

вы остались во мне на странице своей.
То сидим за столом,
после сырости греясь,
доверяясь зажатому пробкой огню.
Был большой хлебосол
Александр Андреич —
это качество в людях я очень ценю.

А что быль подошла
к пограничному мигу,
там, где память ждала,
не гадалось о том.
Чтобы он надписал,
я принес его книгу,
а подумал:
«Да ладно, успею, потом...»

* * *

Из песни можно выкинуть слова,
да что слова —
и целые куплеты!
Но я-то слышал их тогда, сперва,
в застолье том,
в предчувствии Победы.

Мой день рожденья.
Сорок пятый год.
Себя я только помнить начинаю.
Год сорок пятый,
ты начнешь отсчет
всему, за что я лично отвечаю.

Какие люди были за столом,
какие песни
пели эти люди!
Звенели песни форточным стеклом,
как ярость наших праведных орудий.

Роскошные,
в погонах золотых,
пилоты, уцелевшие в сраженьях, —
я с батиных колен
глядел на них
не то что с уваженьем —
с наслажденьем!

Запомнилось
так ясно и так чисто —
и замполит с кулечком монпасье,
и за Победу тост,
и за Отчизну,
и тост еще,
когда вставали все.

Такая святость
в душу мне вошла,
такая сила
наполняла душу,
как будто я поклялся у стола
и клятвы той
вовеки не нарушу.

ОЧАКОВ

Будто утренней свежести чайка
синей тенью заденет плечо,
ты услышишь названье:
Очаков,
а какой он —
не знаешь еще.

Для тебя здесь тягался с веками
лейтенант по фамилии Шмидт,
и Суворов с червонного камня
«Чти великих людей», —
говорит.

И, как эта незримая чайка,
что лишь тенью прошла —
и в зенит, —
неизбывная слава —
Очаков
ненароком тебя осенит.

* * *

Будет? Не будет?
Но как ни страшна —
останутся люди и Русь.
Как все,
пройдет и эта война,
но я с нее не вернусь.
И об ресницы сломленный луч
рассыплется в семь цветов.
Вам еще столько выскоблить туч!
А мне осталась —
любовь.
Лет через двадцать после войны
вспомнят о нас, погибших.
В братском сборнике помещены
будут вот эти вирши.
И я поднимусь,
такой молодой,
лучшей строкой звеня.
И только на фото —
совсем чужой,
каким ты не знала меня.
Ты, которую высшей из сил
трогаю и беру,
ты, которую так любил,
как будто завтра умру.
Друзья превратят табачный дым
в добрые воспоминанья.
Я не был добрым.
Я был живым!
Спасибо вам за вниманье.

ЛЕЙТЕНАНТЫ

Километрами названы версты,
нелегка лейтенантская жизнь.
На погоны не падают звезды,
взялся службу служить —
держись!

Гарнизон одинокий в пустыне,
на краю мирозданья почти,
где жара раскалится и стынет
и мороз индевеет в ночи,

где буран забивает речонку,
и вода привозная потом,
а зимой замерзает тушонка
на пути между банкой и ртом.

Всё пески без конца и без края,
аж до белого солнца пески.
Далека ты, сторонка родная,
вы, луга и леса, далеки.

Никаких тебе ориентиров —
лишь песок да ночная звезда,
и на службе песок, и в квартире
да на карте границы черта.

О тревожное время!
Так надо
для людей и во имя людей.

Дорогие мои лейтенанты,
вам, как водится,
всех тяжелей.

Но в расчетах и ротах порядок,
и не хнычут, а служат сполна
здесь военные наши ребята,
как велела родная страна.

* * *

Женщина с ребенком на вокзале —
символ всех усталых матерей.
Мы еще о ней не написали,
песню не придумали о ней.

Столько лет знакомая картина:
чемодан —
и стол ей, и кровать.
Видно, есть особая причина
ей с дитем далеко уезжать.

Нынче не военные перроны,
нынче не голодная нужда,
но опять, легки и непреклонны,
женщину увозят поезда.

И опять про дочку или сына
знает весь участливый вагон:
то ли к южной бабушке на дыни,
то ли к батьке в дальний гарнизон...

Что дитю!
Привыкнет понемногу
жить с людьми в машинах, катерках,
но запомнит первую дорогу
и себя
у мамы на руках.

СТАРИК ИЛЬЯ

Старик Илья был мудрым, говорят.
К нему сходились люди за советом.
Он, правда, принимал не всех подряд,
но сала и муки не брал за это.

Старик Илья предсказывал событья,
и все сбывалось, бес его ряди!
Я не поклонник черта,
но наитья
бесенок есть и у меня в груди.

...Старухи шли и жены неутешные,
отчаявшись за долгую войну.
И мама, комсомолочка безгрешная,
с печатным извещеньем шла к нему.

Сказал он строго, чтобы не тужила,
слезами не морщинила красу.
Прикрыл глаза: — Березы вижу...
Жив он,
соколик твой.
Он раненый, в лесу.

Я старика не видел, помню только,
Он был далеким родственником мне.
Пророку не завидую нисколько:
когда умрет, он предсказал родне.

Небось жилось и страшно, и непросто,
как смертнику у скрипнувших дверей.
Его спасало высшее геройство:
надеждой жизни радовать людей.

* * *

Помню окна битые вокзала,
помню слякоть в выжженном селе.
То ли мама сказки не сказала —
я без сказки вырос на земле.

Я б запомнил что-нибудь другое —
лунный луг, мурашки по реке,
и еще над этой же рекою,
может быть, жар-птицу вдалеке.

Я б, наверно, вырос современным,
позабыл и слякоть, и вокзал,
и, легко вживаясь в перемены,
ничего б такого не писал.

Я бы вырос нежным, а не грубым,
если бы со сказкою вдвоем;
я бы, может, не был однолюбом
в дружбе и в пристрастиях — во всем.

1948

Лужи, развалины, глина,
рвань трамвайных путей.
С отцом и матерью чинно
иду из поздних гостей.

Отец мой громко и гордо,
помню, сказал на ходу:
— Какой у нас будет город
в пятидесятом году!

Плывет бессиропное лето,
журчит в канаве поток.
В клубе стрекочет лента
«Поезд идет на Восток».

...Сплю.
          И сквозь тайные годы
в каком-то сладком бреду
вижу родной мой город
в пятидесятом году.

* * *

Верьте детству!
Детство было смелым.
В нем — всё правда.
Говорите с ним.

Ели лебеду.
Крапиву ели.
А оно осталось голубым.

МАЛЬЧИШКА

Что-то снова зима
застонала, как в муках,
снова ждать и не ждать
и на фото глядеть.
Как согрели б сейчас
эти теплые руки,
эти сильные руки
двух славных людей!

Утешали соседи:
— Поплачешь, забудешь.
Но опять почему-то
летаешь во сне.
Ты как будто бы ждешь,
ты как будто бы веришь,
что откроется дверь,
как тогда, по весне —

сорок пятой весне
неспокойного века,
что была лишь четвертой
твоею весной —
с прибауткой бодрящей
войдет незнакомец,
тот, что очень знакомый
и очень родной.

Заиграют в живой,
редкозубой улыбке
полудетски задорные
ямочки щек,
и убогие стены
встряхнет и раздвинет
позабытое доброе
слово «сынок».

Только двое людей
так тебя называли,
лишь двоим это право
природа дала.
Да, ты чувствуешь запах
пилотской кабины
и судьбы, что была,
как кабина, мала.

...Как богата природа,
бездушна природа:
хоть письмишко б оттуда!
Раз в год... хоть одно!
Кто ж заставит тебя
не читать за обедом,
кто за хлебом пошлет,
кто же скажет:
— Сынок!

Ведь совсем ты мальчишка —
ершистый и бойкий,
а глядишь свысока
на проделки ребят.
Ну, конечно, мальчишка —
и чуть ли не плачешь,

если кто-то убьет
при тебе воробья.

Но сумел же смотреть ты
сухими глазами
на нелепые комья
промерзшей земли!
Серый мартовский снег
на деревьях слезился,
под ногами стонал.
Люди медленно шли.

...Бледнолицая, хрупкая,
вечно больная.
Ты не слушал ее,
как не слушают мать,
до озноба потом
вспомнишь теплые руки —
если счастье с тобой,
трудно счастье понять...

Но семнадцать уже,
и всего лишь семнадцать,
и карманы не пахнут
еще табаком;
даже спишь, обнимая
по-детски подушку, —
детство зря поспешило
удрать босиком.

Ты остался веселым,
и грустным немножко,
и таким же упрямым,
и нежным, как был.
Только, может, почаще

сдвигаешь ты брови —
и забыть бы хотелось,
и рад: не забыл!

Ты приходишь сюда,
ты приходишь не часто,
запах будто вчерашний,
пилотский такой...
Режут небо и память
знакомые крылья,
и не машет никто
из окошка рукой.

Здесь какой-нибудь летчик
узнает мальчишку,
что-то вспомнит, вздохнет:
«До чего ж он похож!»
—Ну, сынок, как живется? —
— Нормально, —
                                        ответишь.
Люди знают и помнят.
Смущаясь, уйдешь.

И озябшие стекла
залижут снежинки —
то сорока-зима
встрепенется от сна...
Но бывает же часто —
и это не чудо —
стебельком из-под снега
нежнеет весна.

Может, это она,
та весна, у которой
ты глазам с поволокой

придумал слова?
Где-то звездами снег
опускается плавно,
где-то юной мечтой
озарилась Москва...

Жизнь! Ты начал ее,
робинзонскую, честную,
в неизведанный мир
не последним войдешь.
Улыбнешься живой,
редкозубой улыбкой,
и от жизни, ершистый,
свое ты возьмешь.

1958 г.

* * *

Вспоминаются школьные годы,
словно этого года весна,
что прошла в ожиданье погоды,
а погода была не нужна.

Я был беден тогда
и богат
неизвестной, грядущей любовью,
недостигнутым небом крылат,
как птенец у родного гнездовья.

Но не славу отцовского неба,
где в мечтах я давно виражил, —
словно космос,
                    в котором я не был,
вижу город, где долго я жил.

За чертою земных полушарий
золотое свеченье его —
словно кто-то фонариком шарит,
замечая в саду воровство.

Голубеют поэтов граниты,
в парке плавится лужиц слюда.
О, как хочется быть знаменитым,
знаменитым вернуться сюда!

Вижу: брошен я в зал многоликий,

словно камень,
а люди — круги...
И поэт — настоящий, великий, —
он мои одобряет стихи!

Это скоро
и в точности сбудется,
как сбываются вещие сны.
Я, дитё комсомола и улицы,
прохожу перекресток весны.

И шепчу я строку, как молитву,
и строка меня в небо зовет,
где, жужжа электрической бритвой,
скулы неба скребет вертолет.

Тополится пушок над губами,
клен безлистный кивает, как лось.
Про себя не скажу я словами,
но предчувствую.
Только б сбылось!

ДИНКА

В этих окнах всегда были красные кони,
гасли в окнах закаты — и дом умирал.
Ветер южного города
гладил крышу шершавой ладонью
и на рыжем балконе с озябшим котенком играл.

За балконом жила молчаливая девочка Динка,
по утрам продавала на рынке копчушки она.
Бабье лето кончалось.
Вдоль заборов плыла паутинка,
и скворцы на чинаре советовались дотемна.

Ночью город похож был на большую и черную
на плите мирозданья
остывающую сковороду,
от которой то рыбой, то картошкою тянет печеной —
это девочка Динка готовила брату еду.

Брат домой приходил, и стаканом позвякивал на ночь,
и, как стеклышко ясный,
наутро вставал.
Снова ждали его огоньки пристаней и пристанищ
и огромный, как в детстве, полированный желтый
штурвал.

Эх, судьба человечья, мотала ты здорово Сашку,
хоть всегда выходило, к чему он тянулся и сам.

На заветное небо
успел променять он тельняшку,
да и снова тельняшку потом предпочел небесам.

Как побило в курсантах,
как по полю винтом самолета —
вся любовь к авиации в воду сошла.
Да и дома сестренка,
сиротка, морока-забота,
одиноко и молча, не плача, ждала.

И не то чтобы очень жалел и любил он сестренку,
да когда там жалеть — за работой о ней забывал.
Лишь под Первое Мая купил ей простую кофтенку
да еще на учебники несколько раз посылал.

А вчера он с получки набрал ей на платьице —
по зеленому полю,
что птицы, летали цветы.

К подбородку прижмет, повернется, счастливо
попятится —
и выходит русалкой из зеркала, как из воды.

Засыпает девчонка. Ей впервые сегодня приснится —
не в тенистой ночи умирающей мамы слова, —
ей приснится,
как будто она приезжает в столицу
в новом платье своем,
и гудит перед нею Москва.

Бьют часы высоко, и алеет приветливый город,
только после, потом
ей гулять по музеям, садам —
с чемоданом учебников девочка двинулась в горы,
поднимается к Ленинским,
самым высоким горам...

* * *

Все пионерки, в которых я был влюблен,
носят громкие титулы жен.

...Плещет костер позолотой огня в темноту,
волны несут повторенную в море звезду.

Боже, как сложно, как трудно в четырнадцать лет
не потерять этот вещий, единственный свет —

чтоб вечера оставались отдельно от дней
в памяти лучшей под сладкой звездою твоей!

* * *

Сколько было у меня любовей!
Каждый раз я искренне любил.
Вспоминаю радостно, до боли,
и в воспоминаньях тот же пыл,

то же озорное беспокойство —
верьте, други, слову моему
и однажды весело и просто
напишите в детство по письму.

...Обрывалась школьная дремота
в старом парке, некогда родном.
Девушка и трое обормотов,
мы тогда дружили вчетвером.

Было как мираж на месте голом
и не так, наверное, давно
это увлечение футболом,
это восхищение кино.

И поныне — больно ли, обидно,
но немножко нам не все равно,
что Стрельцовых на поле не видно
и что нет Черкасовых в кино...

Медовел на плотных листьях вечер,
чтоб к заре растаять без следа.

Ну и что ж, что вечер был не вечен —
мы-то были вечными тогда.

Думали, что преданно и нежно
все сюда вернемся, вчетвером.
Город проживет без нас, конечно, —
мы-то без него не проживем.

Так оно, наверное, и нужно
уповать на «снова» и «опять»,
вспоминать утраченную дружбу,
чтоб другую ею озарять,

чтоб, как прежде, сказочно мечталось,
даже пусть несказочная быль,
и недосягаемой осталась
девушка, которую любил.

РАЗГОВОР С ДРУГОМ

Ты знаешь, мне стало страшно.
Мы оба с тобой кремни.
К тебе прихожу не часто,
чтоб от себя уйти.
Все говорят, что это —
самое лучшее время,
такое счастливое время,
когда еще все впереди.

Когда лежишь в общежитии
за дымовой завесой,
а что касается денег —
оставлено на потом,
когда — зеленая комната
с хитрым котом Дантесом,
портрет Гагарина,
вешалка —
три шапки и три пальто.

Зову я девчонку Белкой
за то, что волосы — черные,
ресницы и брови — черные
и с ними согласны глаза.
О самое лучшее время,
сколько тебя еще нам?
И клены в плащах из тумана
проводят нас на вокзал...

Клены станут почтенными,
мы — людьми деловыми
и даже очень порядочными.
А встретиться суждено —
в твоей московской квартире,
как воспоминание, выпьем
из крупных светлых бокалов
порядочное вино.

А после пойдем смотреть мы
картину «Чистое небо» —
в «Повторном», возле Никитских,
она еще будет идти!
И если нам станет страшно
без юности, как без хлеба, —
тогда еще,
знаешь, парень,
действительно все впереди.

* * *

Выпускникам
Московского энергетического.

Со всеми это случится —
с тоски возьмете ли фото вы,
и горько, и одиноко
на миг смежите глаза,
взойдет над Москвой общежитие,
и загудят в Лефортово
усиленные коридором
утренние голоса.

Вечно хранить улыбку
вам, институтские стены,
где «Всех из МЭИ не выгонишь!»
дерзко вывел народ.
Ты тоже здесь проходила,
тонкая, как растение,
с большим чертежом под мышкой,
бледная, как зачет.

Как тебе вспоминается
желтый и раскаленный
воздух, в макушках кленов
сотканный в кружева,
где-то в твоем сердечке
светится потаенно,
словно впаяна в стеклышко,
утренняя Москва...

Собрались на стадион мы
в какой-то мой день рожденья.
Холодное «жигулевское»
с дождиком пополам.
И здорово там играло
армейское нападение,
но был у «Динамо» Яшин,
и кончили по нулям.

...Порознь, в разное время,
поздравило нас начальство,
порознь мы защитились,
по правде-то говоря,
у нас и вечера не было,
мы даже не попрощались,
как будто опять на каникулы
разъехались до сентября.

Но я почему-то верю —
мы в этом не виноваты.
Наше еще не кончилось,
наше еще придет.
На старой лесной поляне
разделимся на команды,
и староста деловито
сравнит ширину ворот.

* * *

1.

Когда перед тобою нападающий,
который обязательно забьет,
и не помогут сдавшие товарищи,
и ты один в объятиях ворот,
есть выход — ждать,
застыть на миг, и даже
случается, что может повезти.
Или — вперед.
Лететь!
Красиво!
Скажут:
— Он сделал все,
почти что мог спасти...
Ты выбирай.
Ты самый благородный.
Пусть не спасли защитники, грубя,
и пусть удар —
по всем твоим воротам,
и чем сильней,
тем лучше для тебя.

2.

...И ты летишь, и над тобою
ядром из крепости врагов

светило красное и злое
таранит сетку облаков.

И ты лежишь внизу калачиком,
и над тобой свистящий суд,
и счастье — мяч, который мальчики
тебе из аута несут.

ЛЕФОРТОВ ВАЛ

Прощай
и снова здравствуй, общежитие, —
как трудно — окончательно прощай!
Мы были только временные жители,
и, как ни жаль, ты новых привечай.

Твоими радиаторами греясь,
грядущим дням сдавали мы зачет,
и наши мысли увозил троллейбус —
морозных переулков светлячок.

Плывет Лефортов, синий, запорошенный,
последний год плывет, последний год.
Последнее, помятое мороженое
мне девушка с прилавка подает.

Лефортов вал, ты был моим причалом,
я что-то в жизни сделаю, как ты,
но только, только дай ты мне сначала
немножечко тепла и доброты!

РАНО ВСТАВАТЬ

...Рано вставать.
На окне золотится коптилка,
мама на стол собирает
какую, не помню, еду.
Слякоть чернеет.
Темно и торжественно тихо.
После болезни
я осенью в школу иду.

...Рано вставать.
Тарахтит пулеметно будильник,
срезав дремоту
и музыку сна расстреляв.
Мой институт за окошком
в ознобе от льдинок,
перед экзаменом
хлеб и тяжел, и коряв.

...Рано вставать.
По армейским суровым законам
нужно — и все тут —
рукам и ногам вопреки.
Слово «подъем!» —
будто кто-то железом каленым
лезет в мозги —
гимнастерку хватай, сапоги!

Как мне спалось!
На матрасе,
шинели,
газете —
слаще на свете
блаженствия я не знавал!
Сон был, как голод,
и сладость его на рассвете
тот лишь оценит,
кто где-то свое недоспал.

* * *

Это во сне,
снова во сне
бродит мечта по земле.
Снова пою
песню свою,
ту, что забыл наяву.

Все, что я днем
не ощутил,
снова мне сон возвратил.
Слово пришло,
понял я год —
только мой сад не цветет.

Почему, почему
опоздал я опять —
разве днем нету глаз у меня,
чтоб увидеть мир
                              и понять?

Это во сне,
снова во сне
бродит мечта по земле.
Понял я день,
понял я год —
только мой сад не цветет.

Я ДУМАЛА-ГАДАЛА

Песня

Я думала-гадала
о том, что впереди,
покуда не узнала,
что милого — не жди.

Что он не растерялся,
любовью пренебрег,
со мною не расстался,
а новую завлек.

Зачем люблю-жалею,
зачем не позабыт?
Он жалостью моею
себя не возвратит.

Одна перестрадаю,
как сон, перетерплю,
покуда не узнаю,
что больше не люблю.

ЛЕСНАЯ ПЕСНЯ

Пой, соловушка, пой, соловушка,
про мою ранимую грусть.
Ой, головушка, ты головушка,
до чего же я докачусь?

Загубили меня, залюбили
так, что вроде бы все — любовь.
Позабыли, ох, позабыли,
не сказали хороших слов.

Та, что любая и родная —
я на песню ее променял.
Не ее уже вспоминаю —
вспоминаю, как вспоминал.

Пой, соловушка, птица русская,
все равно теперь, все равно,
пой веселую или грустную —
без любви любить суждено.

* * *

Мягкий ветер, в село залетая,
веет спелою рожью с полей.
Жизнь была б на селе золотая,
да беда — не хватает парней.

Да беда — все ребята хорошие
разлетелись в иные края.
А без них и ромашки не скошены
и в ночи не слыхать соловья.

А без них все девчоночки местные
не желают пленять красотой.
Как отслужите, парни армейские,
возвращайтесь скорее домой.

Нет светлей материнского сада,
нет просторней отцовских полей.
Может, есть где покорней девчата,
но нигде не найдете верней.

* * *

Ты столько с детства
вынесла в себе
той теплоты,
той искренности нужной,
хоть нелюбимой
выросла в семье,
тростиночкой,
печальной и послушной.
И, прислонясь к вечернему стеклу,
следила с замирающей обидой,
как сверстницы
смеялись на углу,
косясь на окна.
Думали, не видно...
Я был далеко. Очень далеко!
Я жил вдвоем
с братишкой малым Сашей.
Мои друзья
(с друзьями все легко)
мне приносили хлеб
и даже сахар.
Что из того,
что вырос я без мамы,
чертополох, бурьян —
ни дать ни взять!
Меня ломали, да не поломали,
зато теперь попробуйте сломать!
Не за мои, а за твои тревоги,

не за мои, а за твои дела
мне откровенно хочется сегодня,
чтоб лучше всех
ты у меня была.
Той самой,
той девчонкою вчерашней,
пускай смеются —
не стыдись ее!
Казаться глупым
умному не страшно.
Уметь бы только
что-нибудь свое,

* * *

Есть у снов неизбывная сила
возвращать дорогие года.
Ты забыла меня, разлюбила,
только я тебе снюсь иногда.

Ничего от тебя не осталось —
иногда только лучик блеснет
добротой, что на самую малость
озарит надо мной небосвод.

И осыпется рядом
и около
отгоревшей ракетной золой...
Только смех твой,
застывший в облако,
проплывает над теплой землей.

* * *

Я буду некрасив
и не такой, как прежде,
вообще я буду хуже
намного, чем теперь,
я буду в очень старой
и выцветшей одежде,
но тихо за тобой,
как прежде, скрипнет дверь.

Зачем ты мне нужна?
Наверно, чтобы вспомнить,
что был я не один
на шарике земном,
что по моей весне
прошла ты невесомо
с травиночкой во рту,
в пальтишке голубом.

Да здравствуют мои
веснушчатые ночи
и шелест облаков
под крыльями в ночи!
И всё из-за тебя
я сделаю — и очень!
Давай мы долго-долго
об этом помолчим.

Но как бы хорошо
ни жили мы отдельно,

и как бы ни смешно
молчалось нам вдвоем,
славяночка моя,
мы все же проглядели,
друг друга потеряли
на шарике земном.

* * *

В застывший пруд моей души холодной
повеяло тревогами полей,
и под звездой, зеленой, путеводной,
прошла, снижаясь, дымка журавлей...

Ты правила душой моей недолго,
недолго королевствовала ты.
Блеснул и канул, как в стогу иголка,
обманный луч сокрывшейся звезды.

Иду в ночи по тоненькому краю
своей души,
пока не поскользнусь,
но нет, не упаду, я это знаю,
а высоко крылами вознесусь!

И полечу вослед за журавлями
над собственной раскованной душой,
раздольно ощущая за плечами
ее неутоленный непокой.

* * *

Сосновым, пахучим, протоптанным летом
мы вместе смотрели, как строился дом,
по пыльным, заляпанным лестничным клеткам
мелькали, как дети, зачем-то вдвоем.

Никто не взрослел. Не хотели. Не нужно.
И — каждый отдельно — шагнули вперед.
Как часто в любовь превращается дружба,
как редко случается наоборот.

Автобус нырнет в подмосковную осень,
как сонный карась в золотой водоем,
где рыжие брызги и праздники просек,
и мы почему-то уже не вдвоем.

Мы даже враги — это страшно подумать!
Как будто сменились флажки полюсов,
и ветры, и мысли иные подули,
сметая обрывки потерянных слов.

* * *

Закат был такой,
что мне захотелось
краски купить
и написать
тебя,
твое осиянное тело
с избытком зари
на журчащую гладь.

Вверху ты росла
среди редких деревьев
и камушек дикий
держала в руке.
Заря распускала
жар-птицыны перья
и по обрыву
спускалась к реке.

И мягкие травы
на лапках упругих
приподымались
на цыпочках вверх,
как будто смотрели:
а что за подруга
и что там с ней рядом
за человек?

И смех одинокий
и сочный, как яблоко,
качался и плыл,
тишины не ценя,
и осень кружилась,
как пестрая ярмарка,
и жизнь признавать
начинала меня.

* * *

Все. Будет погода. И море утихло.
И горы видать вдали.
И звезды, как будто лампадные тигли,
повисли у самой земли.

И что пожелать в этот вечер просторный
тому, кто один на земле,
кто свет небосклона, зеленый и гордый,
безвестно несет на челе?

О только бы знать, что не зря, не напрасно
гудела земля под тобой,
когда на рассвете, предательски ясном,
ты тратил себя на любовь!

* * *

Женятся зеленые ребята
на почти ровесницах своих.
Это всё природа виновата,
виновато счастье на двоих.

Девочкам мечтается и чается,
ни одно сомненье не берет.
Ничего у них не получается,
а вернее — всё наоборот.

Что бы им такое посоветовать,
как бы от беды их уберечь,
чтобы время самое заветное
не сгибало их невзрослых плеч?

Милые, совсем еще хорошие,
станьте оба сильными! Пора.
Ничего не будет запорошено,
лишь «сегодня» выйдет во «вчера».

Никакой не скажет вам писатель,
где нагрянет главная беда.
Только вы друг друга не бросайте —
лучше не найдете никогда.

* * *

Я объеду всю великую страну,
раскрасавицу найду себе жену,
чтоб сияла, как лебедушка, бела,
и душою чтобы ладная была.
Чтоб Ивана родила мне —
только так! —
год от году вырастал чтоб из рубах,
наливался силой дедовской земли,
чтоб не сбили, не сломали, не смогли.
Ладой, Ладушкой мы дочку назовем,
будет в маму вся, веселая притом...

Ничегошеньки я больше не хочу,
все-то станет мне на свете по плечу,
потому что мне землею суждена
удивительно красивая жена.

Пусть летят за ней
с веселой грустью розвальни
по снегам,
что новеселом
Русью прозваны!

* * *

Давай мы жизнь
с тобою проживем,
но только так,
чтоб оба не жалели,
но только так,
чтоб рядышком, вдвоем,
взошли мы оба,
как ростки в апреле.

Нам надо так
держаться друг за друга,
чтобы никто не смог
нас разорвать,
чтоб ты была мне
в радости — подруга,
жена — в разлуке
и в несчастье — мать.

Я не прошу любви
такой огромной,
что даже удержать
не хватит сил, —
ты день мне подари,
чтоб я запомнил,
ты дай мне день,
чтоб я не позабыл!

Такое чувство
у меня особое,
как будто голод
с горем пополам,
а я держу в руках
буханку сдобную,
и сам голодный,
а тебе отдам.

* * *

Спи, любимая!
В небе шелковом,
в медовушной печали луны
возникает червонное слово,
для которого мы рождены.

Спи, любимая!
Нету событий.
В мире тихо.
Впервые.
Совсем.
Протянулись прощальные нити
от живых
к неисплаканным, тем.

Спи, любимая...
Сон твой оплачен
бескорыстьем славянских солдат.
За деревней Великие Плачи
развеселые витязи спят.

Ты мое продолжение, имя,
золоченное выдумкой сна,
я целую устами твоими
эту землю и небо — до дна.

Спи, любимая...
В светлой погоде
я с тобой удивленно лечу,
и такое со мной происходит,
что когда-нибудь жить захочу.


* * *

В такие дни
мне и с тобой не легче,
и что со мной — не приложу ума.
В такие дни
меня серьезно лечит,
как мама,
революция сама.

Она —
не только в Октябре и Мае,
не к детству возвращение она.
Я снова первозданно понимаю
ее знамена,
шашки,
ордена.

Во мне гудит разбуженная сила
тех самых первых,
самых верных дней,
когда отцы в тачанках увозили
закутанных в шинели матерей.

И первое безусое начальство,
бездушное до некоторых пор, —
во имя революции! —
прощало
товарищей и новых медсестер.



В такие дни
я снова за работой.
Влезаю в книги, словно в поезда.
И хочется еще украсть кого-то,
и хочется, чтоб это —
навсегда.

* * *

В тиши окраинных ночей
пустынных улиц Лиепаи
я выходил один, ничей,
свое призванье забывая.
Я тихо к небу выходил,
где море светит у обрыва,
и небо мне дарило диво
среди разрозненных светил.
Как будто два живых крыла
просили бури за спиною,
и бурю женщина несла
в руках светящейся волною.
Еще далекая, вдали
всходила та, совсем иная,
моя, до лучика земная,
хоть в небе не было земли.

Я так люблю твое лицо
с такими черными бровями,
с такими синими ветрами, —
тебя объявшими в кольцо, —
походку гордую твою —
казачьей верности рисунок,
в котором чисто, как спросонок,
ты утром светишься;
люблю
твои полночные глаза,
невыносимые, родные,



какие только образа
хранят нетленными доныне...

* * *

Ее простая, кроткая измена,
и у колодца смутные слова,
усмешка далека, неоткровенна,
и вся она чужая, как молва, —
так и осталась в юности, как будто
свое «прости» сказала лишь вчера...

Заря дрожала медною побудкой,
и начиналось мужество с утра.

Он шел со взводом,
ротой,
батальоном,
душой неотомщенною кипя,
и всюду первым был он непреклонно,
как будто ей доказывал себя.

В его «Филях», в штабной холодной хате,
порою сквозь нежданное словцо,
сквозь стрелы наступления на карте
проглядывало девичье лицо.

Навек она застыла у колодца...
Неколебим и на душу тяжел,
прославленным и грозным полководцем
он по войне историей прошел.

А что он ей?
Свои заботы, беды.
Когда-то вместе не сварили каш...
Ему —
в веках на Празднике Победы
бессмертно опираться на палаш.

* * *

«Стоять у края платформы — опасно!»
Опасно ходить босиком.
Опасно гулять с молодой и прекрасной,
с которой ты не знаком.

Опасно летать на чем бы то ни было,
лежать на влажном песке.
Опасно в студенческие каникулы
гонять плоты по реке.

«Опасно!» —
и все очевидно и ясно,
как буквы начальной овал.
Но если придумано слово «опасно»,
то кто-то на это плевал.

* * *

Столкновение встречных потоков
загребает весь мусор метлой —
позакрутит, подержит высоко
и оттуда с размаху долой!

Это смерч.
По-над детством, бывало,
он гонял непроглядную пыль.
Помню, мама его называла
по-иному.
А как — позабыл.

Было слово...
И я был послушный,
и на ветер не лез никогда,
но однажды из комнаты душной
потянуло меня навсегда.

И пошел я ознобною ранью
воспаленному ветру назло,
и со всей подорожною дрянью
подхватило меня, понесло.

Мне кричали: — Куда ты, не надо!
Пережди эту бурю, чудак! —
Осыпало меня камнепадом...
Сколько дерзких устало вот так!

Но когда ветровые усилья
разрывали меня на лету,
вместо рук я почувствовал крылья
и под ними свою высоту.
И рванулся...

И в свежесть без края
окунулся восторженно я,
и возникла она, побеждая,
соколиная песня моя.

Это начался нежно и грозно
на тончайшем просторе высот,
в далеко,
окаемком морозным,
мой серебряный,
чистый полет.

* * *

Жизнь отстоялась. Ушел из мальчишек.
Мне уже тридцать годков.
Выпустил несколько тоненьких книжек
жестких, неровных стихов.

Не научился писать по-иному,
мучить строку не люблю.
И не к стихам, а к чему-то земному
я припаду, как к рулю.

Выдюжу, выдержу все испытанья,
только б была глубина,
только б на зорьке,
как в юности ранней,
плыть, не царапая дна.

Вовсе не нужен мне призрачный берег,
в море моя благодать —
плавать не ради открытых Америк,
солнцем соленым дышать...

1971 г.

* * *

Когда умирает парень,
ничем не причастный к вечности,
простой и хороший парень, —
нам жаль, что недолог век,

когда умирает Туполев —
обидно за все человечество,
что столько с собой уменья
уносит
        один человек.

* * *

Талантом восхищаются
везде, во все года,
а он-то не прощается
нигде и никогда.

Отважен, бескорыстен,
добру открыт, и все ж
он тайно ненавистен
за то, что не похож.

Не благодарность — зависть,
не мед, а с медом яд.
Свинец и сталь вонзались
в сердца каких ребят!

Есть в веточке сирени
единственный цветок,
которому с рожденья
дан пятый лепесток.

Так будь же благодарен
природе и судьбе
за то, что он подарен
несчастному, тебе.

ГАЛИЛЕЙ

Он бы мог сказать и другое.
Жизнь и смерть —
какой карнавал!
Отреченный,
не знал покоя,
убежденный,
он тайну знал.

Он хрипит, он сжимает пальцы,
вспоминая муки борьбы.
Привели.
Заставили каяться,
отказаться от «адской трубы».

Их кресты,
их черные рясы
и Коперника мысли в золе...
Но не вечно же будет разум
выжигаться на вечной земле!

Он читал небесную сферу,
он умел проникать во тьму.
Пятна Солнца,
фазы Венеры
открывали правду ему.

Он бы мог...
Но Луна, Медведицы

и Земля поплыли в глазах...
— А она-то все-таки вертится! —
он не мог другое сказать.

Он не мог иначе измерить
Млечный Путь отсверкавших лет.
Значит,
есть что-то выше смерти,
только выше совести —
нет.

1958 г.

* * *

Н. Елизарову

Талант за так нам не дается,
мы платим жизнью за талант,
и по ночам ему неймется
искать невыказанный клад.

Но что ж ты, выиграв сраженье,
не пьешь надменного вина?
Победа — тоже пораженье,
когда победа не нужна.

И я уехал к другу. Надо.
Мне с детства кладезь дружбы дан!
Еще чубатый, неженатый,
уехал я в Таджикистан.

...Внизу хлопчатник убирали,
ложилось солнышко в постель,
и на Шан-Шарском перевале
на нас набросилась метель.

В горах осенней акварелью
закон проявлен золотой:
в нем неудачники стареют,
а мастер — вечно молодой.

И я узрел за перевалом —
мне открывается тайник —
как те стихи, что наплывали,
когда не думал я о них.

* * *

Жил математик. Его не любили...
Спятил на мнимом числе господин!
Но вырезают ему на могиле
корень квадратный из минус один!
Но существует преемственность в мире,
и от нее никуда не свернуть.
Путь от Можайского к «Ту-104»
я пролетаю за десять минут.
Чтобы открыл я бокситы и космос,
чтобы дожил я до этого дня,
Васко да Гама,
Ньютон,
Маяковский
сколько столетий растили меня!
Все я усвоил, листающий книги,
взявший в наследство стекло и неон,
чтоб для кого-то быть первым великим,
камнем о камень открывшим огонь!
И в тишине ощутить обреченность,
ночью, в метро, в поездах голубых.
Лица и лица. Да мыслей нечетность.
Страшно, как драка глухонемых.
Страшно — умрем.
Не получимся — страшно.
Все, кто в вагоне со мною сейчас...
Более страшно,
более важно,

что после смерти скажут о нас.
Все мы в какой-то мере пилоты —
в каждом труде возникает полет.
И, как снежинка, только в полете,
только в полете виден пилот!

* * *

В маленьком чистом городе
в автобусах мы ночевали.
Герои Олимпиады
в креслах измятых спят.
Тихая ночь Европы,
безлюдная, дождевая,
стоянка у парка,
и глупый
с мокрой афиши взгляд.

Струйки на синих крышах
и на атласных окнах,
дождь полирует стекла,
черные изнутри.
Два листка литографских
на сером заборе промоклом —
кто-то недавно помер —
вздулись, как волдыри.

Струйки блестят на стенах,
вывесках,
и — жемчужно —
над снимками молодоженов
в аквариумах витрин.
Желтые лампы снизу
светят просторно, южно
и озаряют миги
встреч, разлук, именин.

И никого в Европе,
будто Европа вымерла,
будто настал на свете
первый день без людей,
за ночь дождем и ветром
всех, что ходили,
вымело,
только остались стены
да отпечатки дней.

Тихо, словно навеки...
Шипит под каплями камень,
выпукло остывая,
спаянный мостовой.

Утро,
обман развеяв,
процокает каблуками,
блеснув на одно мгновенье
измазанной тушью щекой.

ДОЖДЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Чужие не хочу ругать порядки —
ведь как-никак я все-таки в гостях, —
а лучше расскажу вам по порядку.
Американцы очень любят флаг.

Американцы очень любят флаг,
свой, полосатый.
Он у них повсюду —
над фарой украшает «кадиллак»
и на витрине — чайную посуду...

Америку представить невозможно,
ни прочитав, ни увидав в кино.
Она не любит слишком осторожных,
а любит «наплевать»
и «все равно».

Как будто риска
тайные микробы
вершат ее движение и труд.
Едва не задевая небоскребы,
к аэродрому лайнеры идут.

И в триста сил машины
по гудрону,
как будто над гудроном
без колес!

Как будто мысль, оглохшая от грома,
забыта вдалеке,
как паровоз.
Но что поделать мне?
Я человек.
Передо мной Америка живая.
Ее высокий каменный успех,
как сальною свечою, оплывает.

Мне любы строек башенные чащи,
вечерних небоскребов карнавал.
Наверное,
строителей почаще
на выучку сюда б я присылал.

...В ущелья улиц
вечер опустился,
верней, как жаркий занавес, упал,
и мотылечек — маленькая птица
один, как чудо,
тычется в металл.

И, распустив юбчонку парашютом,
выходит негритянка на панель,
и кто-то, голову обрив кому-то,
на лысине рисует акварель.

А рядом жизнь,
от скорости белея,
как будто позабыла о ходьбе,
как мотылек под лампами Бродвея,
Америка запуталась в себе.

И вроде бы устала...
Над Нью-Йорком,

как желтый дьявол,
пляшет желтый дождь,
и каждой каплей
спрашивает горько:
— Куда же ты, Америка, идешь?

Над выброшенной акцией измятой,
над заревом рекламы обувной
он плачет,
старомодно бородатый,
и лупит, объективный и прямой.

По малым палисадникам на крышах —
надкаменным усадьбам богачей, —
по этажам, по стеклам —
ниже, ниже,
где человек бездомный
и ничей.

Сидит себе, разглаживает доллар
с такой любовью —
нам-то не понять!
Ладонью гладит приторно и долго,
то перестанет гладить, то опять...

По щелям, меж громадами,
как саблей,
гром рубит —
по шипению плащей,
по девочке из модного ансамбля,
американке Лите Галовэй.

На сцене улиц,
вдоль стального берега
она плывет.

На все ей наплевать.
Ты протестуешь, юная Америка,
но как умеешь ты протестовать?

В грязи рубаха,
волосы распущены...
Назло молве, богатству вопреки,
родителям, налогами измученным,
надела юность драные портки.

Чего хотят оборванные дети?
Решили дети общество взорвать.
Как этот дождь плюет на все на свете,
они решили тоже наплевать.

Но что-то будет.
Никуда не деться.
Как этот гром копился в тишине,
растет и мыслит дерзкое наследство
в заплывшей жиром
нищенской стране.

И, может быть,
без Зимних и Бастилий
(но это будет —
молодость, проснись!)
без яростных, стоических усилий
Америка построит коммунизм.

И этому не будут удивляться —
своим путем
и в свой черед придет
к большому человеческому братству
могучий и талантливый народ.

И флагов полосатые потоки
висят унылым, вымокшим тряпьем,
и Ленин улыбается с листовки
в кепчонке
под ненашенским дождем...

* * *

За ум люблю тебя,
Америка,
за скорость рваную,
за риск.
Как ты
срываешься уверенно
с «американских горок» «вниз»!

И за дома,
шоссе,
дороги,
мосты — о боже мой! — мосты,
за то, что сразу, на пороге,
с тобою стали мы на «ты»;

за так похожего на Юру
улыбкой доброю своей
Армстронга
и за то, что хмурых
не очень жалуешь людей.

...Мелькнуло поле за пригорком,
и необычно, и сполна
запахло сеном над Нью-Йорком,
как медный цент,
взошла луна.

Как сдача к доллару...
Свинцово
с реклам сулит он благодать,
хрустит
и лезет он в лицо вам:
— Куплю и флаг,
                и честь,
                        и мать,

и арлингтонское молчанье,
где президент под камнем спит
и факел вечного страданья,
как стыд Америки,
                горит...

Мы в Капитолии видали
ораву бравую солдат.
Бренчали новые медали,
как звон кладбищенских лопат.

И стало тихо,
            как в могиле,
в огромном грохоте страны —
как будто Совесть хоронили,
сперва продав за полцены...

* * *

Я видел кандидата в президенты,
смеялся, рассуждал с ним —
ну и что?
Выслушивал и правду, и легенды
о выборах — про это и про то.

Он говорил,
как любит он рабочих,
и много он такого говорил,
а лучше б молча взял да, между прочим,
свой капитал рабочим подарил!

Войну клеймит,
и негритят целует,
и против пьяниц выдвинул трактат,
ну прямо «глори, глори, алиллуйя»,
ну просто ангел,
а не кандидат!

ВСТРЕЧА

В Америке,
в Нью-Йорке,
на Бродвее,
а может быть,
на Пятой авеню,
я в точности припомнить не сумею,
но в памяти, как праздник, сохраню:

в витрине, светом вытканной,
какие
у нас бывают раза два в году,
черты лица, бессмертно дорогие,
мелькнули мимолетно, на ходу.

Хоть и спешил я,
все ж остановился,
хоть не поверил —
сердцем ожидал,
и потому не очень удивился
улыбке, заколдованной в металл.

А все ж приятно,
что портрет не меленький —
на шлеме буквы далеко видать!
А все ж приятно
где-нибудь в Америке
Гагарину приветы передать.

УОЛЛ-СТРИТ

Такое где-то встретится едва ли:
мир каменною просекой возник,
как будто прежде сплошь дома стояли,
а улица прорублена сквозь них.

И вот иду по улице и вижу:
действительно, табличка «Уолл-стрит».
Я столько с детства был о ней наслышан —
воистину такая есть, шумит.

...Белело утро чистое безбрежно,
и статуя Свободы вдалеке
глядела безразлично, неутешно
с пустым, холодным факелом в руке.

Я медленно шагал по Уолл-стриту,
в душе болело, и не слово —
крик,
не зависть к злату —
мы не лыком шиты,
веками мы страдали за других!

Голодные,
мы лозунги носили
о светлой жизни мира без господ.
Насколько жизнь была невыносимей,
настолько человечней мой народ.

13 Ф. Чуев

Настолько цель прекрасна
и желанна,
что уступает радости печаль.
И я тихонько,
для себя нежданно,
запел на Уолл-стрите невзначай:

«Смело мы в бой пойдем
за власть Советов
и, как один, умрем
в борьбе за это».

* * *

Спускались километры
сыпучим щебнем вниз.
Шагал со мной Альберто,
заморский коммунист.
И по пути на Рицу
журчал его рассказ:
приехал подлечиться,
впервые он у нас.
Как щебень,
острой болью
царапали слова
про партию в подполье,
которая жива.
Как с тюрьмами знавался
до седины в усах,
как листьями питался
в неласковых лесах.

Костер тиранил хвою,
съедая темь ночи,
и мы сидели
двое,
как будто москвичи.

...Далеко ты, товарищ,
от нашего огня
и, может, вспоминаешь
и Рицу, и меня.

С тех пор во мне такое —
не то чтоб непокой,
но, словно я в подполье,
работаю с тобой.

И есть страна большая,
которая за вас,
которая спасает
друзей в нелегкий час...

Из облака-конверта
луны осенний лист
поплыл к тебе,
                    Альберто,
товарищ,
          коммунист.

* * *

Спасибо, жизнь, благодарю,
спасибо, неулыба,
что я по-русски говорю,
тебе мое спасибо.

За ночь, пропахшую весной,
и море у обрыва,
за то, что не было со мной
всего того, что было,

а только где-то предстоит
пройти и удивиться —
в лесу, где зорюшка горит
непойманной жар-птицей.

Там свет такой, что провода
колышутся от света,
там над водою никогда
не потухает лето.

За все «ах, если б да кабы»,
которые не встретил,
за то, что зрею для борьбы
на этом строгом свете!

* * *

Командир принимает решенье.
— Есть возможность, —
сказал командир, —
в предпоследнее наше мгновенье
одному только выйти в эфир.

Самолет не щадил пассажиров
и вот-вот уже должен упасть,
и тогда пронеслось по эфиру:
— Берегите
Советскую
власть!

Что он думал, обычный рабочий,
на краю, перед самой землей,
чтобы сделать лишь важное очень,
не успев попрощаться с семьей?

Чтоб сказать —
по какому наитью? —
он восторженных слов не терпел! —
мол, желаю здоровья и дел,
но Советскую власть
берегите...

Это лозунг отцов.
Жить ему, как сынам,
ни забытым не стать,

ни избитым.
Он от Пскова и Нарвы прошел по годам,
сокрушая бетон моабитов.

Словно тысячный гром боевых голосов,
он безмолвно впаялся в знамена,
чтоб мильонами
                    красных разбуженных слов
нашей правды шагали колонны.

Алым стягом
Отчизну
на карте не зря
океанские ветры полощут,
и не зря
в раскрасневшийся день ноября
мы выходим на Красную площадь.

Чем бы в будущем мире
                              ни жил человек
и куда бы душа ни рвалась,
как бессмертье страны, завещаю навек:
берегите
Советскую
власть.

* * *

У советских
есть чувство такое —
выше радости и беды.
Возвышает оно в герои,
поднимает до красоты.

...Двести метров нам остается.
Каждый камень взят на прицел.
Умирая, стоят чуйковцы
Побеждает СССР!

И когда приходит Италия
на могилы своих людей,
над фамилией Полетаев
итальянская скорбная тень.

И когда чикагский рабочий
посылает деньги всерьез,
чтоб купили — прошу вас очень —
самых алых на свете роз,
принесли гражданину Ленину...

Это сила, а не пример,
это в сердце и в убеждении
побеждает СССР!

Если строим по-русски, не на день,
если летчик вернулся цел,

если Яшин берет пенальти —
побеждает СССР!

За знамен твоих красное жжение
и за душу, которой сильна,
за всемирное уважение
обожаю тебя, страна.

И не буду счастлив, покуда
не услышу с Лун и Венер:
на земле, в небесах — повсюду
побеждает СССР!

* * *

Если твоя земля в цвету,
вся от любви светла,
значит, будь на своем посту,
чтобы земля цвела!

Если тебя зовет любовь,
как маяка огни,
значит, тебе не нужно слов —
мир
    сохрани!

Сильному
            счастья нет,
если оно не для всех.
Ты сбережешь сады,
небо и солнца свет,
если ты человек!

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Чувство высоты. Предисловие М. Водопьянова	3
«Изгладится...»	5
«По-над вмятым в землю бурьяном...»	6
Летный полк	8
«О, как эти люди красивы...»	10
«В степи трещали коростели...»	11
Гатчина	12
«Не золоту, а сердцу на потребу...»	14
Памятник летчику	15
Курсант	16
Ляпидевский	18
«Полярная вьюга гудит над Купавной...»	20
Старые пилоты	22
Нелетная погода	24
«До сих пор я не знаю...»	25
Тополь	26
«Кто-то будет смеяться и петь...»	28
«Лунная в небе заплата...»	29
«На кладбище у церкви Всех Святых...»	30
«Наш «як» притих обиженно в сторонке...»	31
Испытатели	32
«Я рад, что нету мамы у меня...»	35
Моя работа	36
Праздник	37
«Я приехал в городок хороший...»	39
Пилотка	40
Еще об отцовской пилотке	41
«...Я видел только чуб...»	42
Вишня	43
«Я сижу под вишней, отдыхаю...»	45
Элегия	46
«За что б ни взялся...»	47
Мартовский вечер	48
Сапоги	49
В гостях у Мосолова	51

Стр.

Когда мне вспоминается Гагарин... 54
«Как леса...» 61
«Уснут расчеты на столе...» 63
Главный конструктор 64
Прощание 66
Проспект космонавта Добровольского . . . 67
Болтанка 68
Военные поэты 70
Песни 71
Надпись на памятнике 72
Брестская крепость 73
Документальное кино 74
«С той поры, как живу в Подмосковье...» . . 75
«Ревмя гудели облака...» 76
«В моей стране есть ветхая избушка...» . . 78
Фото в моем дому 79
«Я сажусь в самолет «мессершмитт»...» . . 80
Входили русские в Софию... 82
Гоби 83
Памятник 85
Гости «Интуриста» 87
«Повсюду называют нас «Иваны»...» 89
Северо-Запад 91
Собор Николы 93
«Что мне делать, что мне делать...» 95
«На кривых переулках старинной Москвы...» 96
«Люблю Москву...» 97
«Москва-река еще зимой не скована...» . . 98
«Художник, василька не прозевай...» 99
«По зеленому бульвару по Тверскому...» . . 100
«Моя московская квартира...» 102
«Уеду я в село Завидово...» 103
«В звучанье слова мятного «купава»...» . . 104
«Раздувает белые пожары...» 105
Рождение дня 106
«Стаканом лесной чистоты...» 107
Кавказское утро 108
Ленинград 109
«Здесь Пушкин жил...» 110
Об Александре Прокофьеве 111
«Из песни можно выкинуть слова...» 113
Очаков 115

Стр.

«Будет? Не будет?..» 116
Лейтенанты 117
«Женщина с ребенком на вокзале...» 119
Старик Илья 120
«Помню окна битые вокзала...» 121
1948 122
«Верьте детству!..» 123
Мальчишка 124
«Вспоминаются школьные годы...» 129
Динка 131
«Все пионерки, в которых я был влюблен...» 133
«Сколько было у меня любовей...» 134
Разговор с другом 136
«Со всеми это случится...» 138
«Когда перед тобою нападающий...» 140
Лефортов вал 142
Рано вставать 143
«Это во сне...» 145
«Я думала-гадала...» 146
Лесная песня 147
«Мягкий ветер, в село залетая...» 148
«Ты столько с детства...» 149
«Есть у снов неизбывная сила...» 151
«Я буду некрасив...» 152
«В застывший пруд моей души холодной...» . 154
«Сосновым, пахучим, протоптанным летом...» 155
«Закат был такой...» 156
«Все. Будет погода. И море утихло...» 158
«Женятся зеленые ребята...» 159
«Я обойду всю великую страну...» 160
«Давай мы жизнь...» 161
«Спи, любимая!..» 163
«В такие дни...» 165
«В тиши окраинных ночей...» 167
«Ее простая, кроткая измена...» 169
«Стоять у края платформы — опасно!..» . . . 171
«Столкновение встречных потоков...» 172
«Жизнь отстоялась. Ушел из мальчишек...» . 174
«Когда умирает парень...» 175
«Талантом восхищаются...» 176
Галилей 177
«Талант за так нам не дается...» 179

	Стр.
«Жил математик. Его не любили...»	180
«В маленьком чистом городе...»	182
Дождь в Нью-Йорке	184
«За ум люблю тебя...»	189
«Я видел кандидата в президенты...»	191
Встреча	192
Уолл-стрит	193
«Спускались километры...»	195
«Спасибо, жизнь, благодарю...»	197
«Командир принимает решенье...»	198
«У советских...»	200
«Если твоя земля в цвету...»	202

Феликс Иванович Чуев

ПИЛОТКА

Стихи

Редактор *М. П. Савельев*
Художник *О. А. Гребенщикова*
Художественный редактор *Р. И. Прозоровская*
Технический редактор *М. В. Федорова*
Корректор *Н. М. Опрышко*

* * *

Г-34588
Сдано в набор 22.6.73 г.
Подписано к печати 31.8.73 г.
Формат бумаги 70×90 1/32
печ. л. 6 1/2 усл. печ. л. 7,605
+ 1 вкл. 1/16 печ. л., 0,072 усл. печ. л.
5,904 уч.-изд. л.
Типографская бумага № 1
Тираж 20,000 экз.
Изд. № 4/6302
Цена 81 коп. Зак. 561

* * *

Ордена Трудового Красного Знамени
Военное издательство
Министерства обороны СССР
103160, Москва, К-160
1-я типография Воениздата
103006, Москва К-6,
проезд Скворцова-Степанова, дом 3

Чуев Ф. И.


Ч-85 Пилотка. Стихи. М., Воениздат, 1973.

206 стр.

Творчество поэта Феликса Чуева неразрывно связано с нашей армией, и в частности, с авиацией. Сам бывший авиатор, он хорошо знает жизнь ВВС, воспевает романтику неба, мужество людей, находящихся за штурвалами боевых машин.

В новую книгу поэта вошли патриотические, публицистические, лирические стихи, наполненные раздумьями о судьбах поколения, о верности долгу, о любви.

Ч $\frac{0742-307}{068(02)-73}$ 220-73 Р2

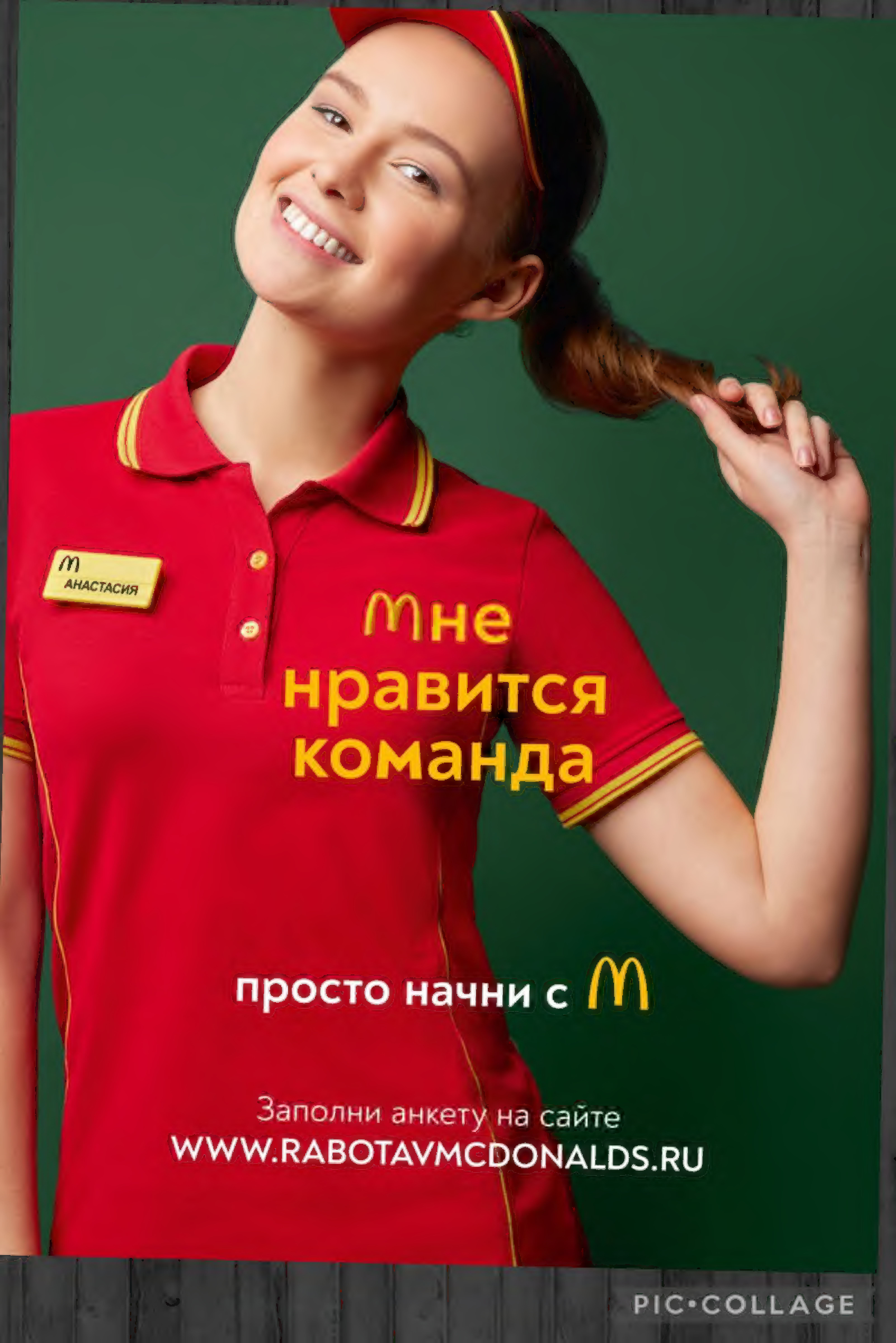


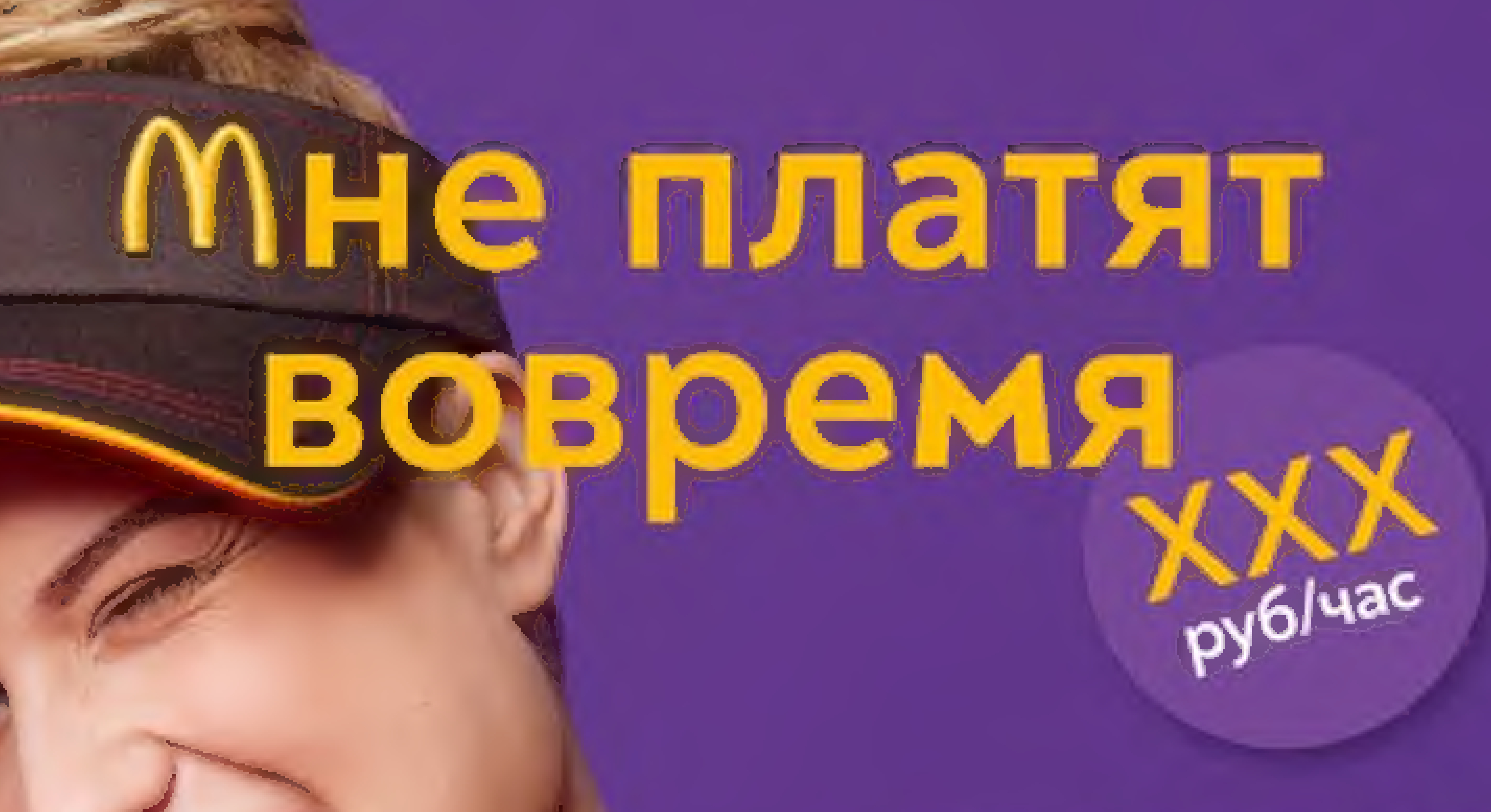

Феликс Чуев
ПИЛОТКА

Мне
удаётся всё
успевать

ПРОСТО НАЧНИ С


РАБОТАТЬ
СТОИТ ТАМ,
ГДЕ ЗА ТЕБЯ
СТОЯТ ГОРОЙ
КСЕНИЯ


АНАСТАСИЯ
Мне
нравится
команда
просто начни с
Заполни анкету на сайте
WWW.RABOTAVMCDONALDS.RU
PIC•COLLAGE


Мне платят
вовремя
XXX
руб/час
просто начни с
WWW.RABOTAVMCDONALDS.RU
Город, Улица, дом, Макдоналдс, 2-й этаж. X (XXX) XXX-XX-XX


ISU
PIC·COLLAGE